

КОТЛОВАН

В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда.

Вощев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге — в природе было такое положение. Вощев не знал, куда его влечет, и облокотился в конце города на низкую ограду одной усадьбы, в которой приучали бессемейных детей к труду и пользе. Дальше город прекращался — там была лишь пивная для отходников и низкооплачиваемых категорий, стоявшая, как учреждение, без всякого двора, а за пивной возвышался глиняный бугор, и старое дерево росло на нем одно среди светлой погоды. Вощев добрал до пивной и вошел туда на искренние человеческие голоса. Здесь были невыдержанные люди, предававшиеся забвению своего несчастья, и Вощеву стало глуше и легче среди них. Он присутствовал в пивной до вечера, пока не зашумел ветер меняющейся погоды; тогда Вощев подошел к открытому окну, чтобы заметить начало ночи, и увидел дерево на глинистом бугре — оно качалось от непогоды, и с тайным стыдом заворачивались его листья. Где-то, на-

верно в саду совторгслужащих, томился духовой оркестр; однообразная, несбывающаяся музыка уносилась ветром в природу через приовражную пустошь, потому что ему редко полагалась радость, но ничего не мог совершить равнозначного музыке и проводил свое вечернее время неподвижно. После ветра опять настала тишина, и ее покрыл еще более тихий мрак. Вощев сел у окна, чтобы наблюдать нежную тьму ночи, слушать разные грустные звуки и мучиться сердцем, окруженным жесткими каменистыми костями.

— Эй, пищевой! — раздалось в уже смолкшем заведении. — Дай нам пару кружечек — в полость налить!

Вощев давно обнаружил, что люди в пивную всегда приходили парами, как женихи и невесты, а иногда целыми дружными свадьбами.

Пищевой служащий на этот раз пива не подал, и двое пришедших кровельщиков вытерли фартуками жаждущие рты.

— Тебе, бюрократ, рабочий человек одним пальцем должен приказывать, а ты гордишься!

Но пищевой берег свои силы от служебного износа для личной жизни и не вступал в разногласия.

— Учреждение, граждане, закрыто. Займитесь чем-нибудь на своей квартире.

Кровельщики взяли с блюдечка в рот по соленой сушке и вышли прочь. Вощев остался один в пивной.

— Гражданин! Вы требовали только одну кружку, а сидите здесь бессрочно! Вы платили за напиток, а не за помещение!

Вощев захватил свой мешок и отправился в ночь. Вопрошающее небо светило над Вощевым мучительной силой звезд, но в городе уже были потушены огни, и кто имел возможность, тот спал, наевшись ужином. Вощев спустился по крошкам земли в овраг и лег там животом вниз, чтобы уснуть и расстаться с собою. Но для сна нужен был по-

кой ума, доверчивость его к жизни, прощение прожитого горя, а Вощев лежал в сухом напряжении сознательности и не знал — полезен ли он в мире или все без него благополучно обойдется? Из неизвестного места подул ветер, чтобы люди не задохнулись, и слабым голосом сомнения дала знать о своей службе пригородная собака.

— Скучно собаке, она живет благодаря одному рождению, как и я.

Тело Вощева побледнело от усталости, он почувствовал холод на веках и закрыл ими теплые глаза.

Пивник уже освежал свое заведение, уже волновались кругом ветры и травы от солнца, когда Вощев с сожалением открыл налившиеся влажной силой глаза. Ему снова предстояло жить и питаться, поэтому он пошел в завком — защищать свой ненужный труд.

— Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства, — сказали в завкоме. — О чем ты думал, товарищ Вощев?

— О плане жизни.

— Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни ты мог бы проработывать в клубе или в красном уголке.

— Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она мне не загадка.

— Ну и что ж ты бы мог сделать?

— Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производительность.

— Счастье произойдет от материализма, товарищ Вощев, а не от смысла. Мы тебя отстоять не можем, ты человек несознательный, а мы не желаем очутиться в хвосте масс.

Вощев хотел попросить какой-нибудь самой слабой работы, чтобы хватило на пропитание: думать же он будет во внеурочное время: но для просьбы нужно иметь уважение к людям, а Вощев не видел от них чувства к себе.

— Вы боитесь быть в хвосте: он — конечность, и сели на шею!

— Тебе, Воцев, государство дало лишний час на твою задумчивость — работал восемь, теперь семь, ты бы и жил — молчал! Если все мы сразу задумаемся, то кто действовать будет?

— Без думы люди действуют бессмысленно! — произнес Воцев в размышлении.

Он ушел из завкома без помощи. Его пеший путь лежал среди лета, по сторонам строили дома и техническое благоустройство — в тех домах будут безмолвно существовать донине бесприютные массы. Тело Воцева было равнодушно к удобству, он мог жить не изнемогая в открытом месте и томился своим несчастьем во время сытости, в дни покоя на прошлой квартире. Ему еще раз пришлось миновать пригородную пивную, еще раз он посмотрел на место своего ночлега — там осталось что-то общее с его жизнью, и Воцев очутился в пространстве, где был перед ним лишь горизонт и ощущение ветра в склонившееся лицо.

Через версту стоял дом шоссейного надзирателя. Привыкнув к пустоте, надзиратель громко ссорился с женой, а женщина сидела у открытого окна с ребенком на коленях и отвечала мужу возгласами брани; сам же ребенок молча щипал оборку своей рубашки, понимая, но ничего не говоря.

Это терпение ребенка ободрило Воцева, он увидел, что мать и отец не чувствуют смысла жизни и раздражены, а ребенок живет без упрека, вырастая себе на мученье. Здесь Воцев решил напрячь свою душу, не жалеть тела на работу ума, с тем чтобы вскоре вернуться к дому дорожного надзирателя и рассказать осмысленному ребенку тайну жизни, все время забываемую его родителями. «Их тело сейчас блуждает автоматически, — наблюдал родителей Воцев, — сущности они не чувствуют».

— Отчего вы не чувствуете сущности? — спросил Вощев, обратясь в окно. — У вас ребенок живет, а вы ругаетесь, он же весь свет родился окончить.

Муж и жена со страхом совести, скрытой за злобностью лиц, глядели на свидетеля.

— Если вам нечем спокойно существовать, вы бы почитали своего ребенка — вам лучше будет.

— А тебе чего тут надо? — со злостной тонкостью в голосе спросил надзиратель дороги. — Ты идешь и иди, для таких и дорогу замостили...

Вощев стоял среди пути не решаясь. Семья ждала, пока он уйдет, и держала свое зло в запасе.

— Я бы ушел, но мне некуда. Далеко здесь до другого какого-нибудь города?

— Близо, — ответил надзиратель, — если не будешь стоять, то дорога доведет.

— А вы чтите своего ребенка, — сказал Вощев, — когда вы умрете, то он будет.

Сказав эти слова, Вощев отошел от дома надзирателя на версту и там сел на край канавы; но вскоре он почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины, он не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться. Вощев, истомившись размышлением, лег в пыльные, проезжие травы; было жарко, дул дневной ветер, и где-то кричали петухи на деревне — все предавалось безответному существованию, один Вощев отделился и молчал. Умерший, палый лист лежал рядом с головою Вощева, его принес ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу предстояло смирение в земле. Вощев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности. «Ты не имел смысла жизни, — со скупостью сочувствия полагал Вощев, — лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валя-

ешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить».

— Все живет и терпит на свете, ничего не сознавая, — сказал Вощев близ дороги и встал, чтоб идти, окруженный всеобщим терпеливым существованием. — Как будто кто-то один или несколько немногих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе.

Он шел по дороге до изнеможения; изнемогал же Вощев скоро, как только его душа вспоминала, что истину она перестала знать.

Но уже был виден город вдальеке, дымились его кооперативные пекарни, и вечернее солнце освещало пыль над домами от движения населения. Тот город начинался кузницей, и в ней во время прохода Вощева чинили автомобиль от бездорожной езды. Жирный калека стоял подле коновязи и обращался к кузнецу:

— Миш, насыпь табачку: опять замок ночью сорву!

Кузнец не отвечал из-под автомобиля. Тогда увечный толкнул его костылем в зад.

— Миш, лучше брось работать — насыпь: убытков наделаю!

Вощев приостановился около калеки, потому что по улице двинулся из глубины города строй детей-пионеров с уставшей музыкой впереди.

— Я ж вчера тебе целый рубль дал, — сказал кузнец. — Дай мне покой хоть на неделю! А то я терплю-терплю и костыли твои пожгу!

— Жги! — согласился инвалид. — Меня ребята на тележке доставят — крышу с кузни сорву!

Кузнец отвлекся видом детей и, добрея, насыпал увечному табаку в кiset:

— Грабь, саранча!

Вощев обратил внимание, что у калеки не было ног — одной совсем, а вместо другой находилась деревянная приставка; держался изувеченный опорой костылей

и подсобным напряжением деревянного отростка правой отсеченной ноги. Зубов у инвалида не было никаких, он их сработал начисто на пищу, зато наел громадное лицо и тучный остаток туловища; его коричневые, скупно отверзтые глаза наблюдали посторонний для них мир с жадностью обездоленности, с тоской скопившейся страсти, а во рту его терлись десны, произнося неслышные мысли безногого.

Оркестр пионеров, отдалившись, заиграл музыку молодого похода. Мимо кузницы, с сознанием важности своего будущего, ступали точным маршем босые девочки; их слабые, мужающие тела были одеты в матроски, на задумчивых, внимательных головах вольно возлежали красные береты, и их ноги были покрыты пухом юности. Каждая девочка, двигаясь в меру общего строя, улыбалась от чувства своего значения, от сознания серьезности жизни, необходимой для непрерывности строя и силы похода. Любая из этих пионерок родилась в то время, когда в полях лежали мертвые лошади социальной войны, и не все пионеры имели кожу в час своего происхождения, потому что их матери питались лишь запасами собственного тела; поэтому на лице каждой пионерки осталась трудность немощи ранней жизни, скудость тела и красоты выражения. Но счастье детской дружбы, осуществление будущего мира в игре юности и достоинстве своей строгой свободы обозначили на детских лицах важную радость, заменившую им красоту и домашнюю упитанность.

Воцев стоял с робостью перед глазами шестивия этих неизвестных ему, взволнованных детей; он стыдился, что пионеры, наверное, знают и чувствуют больше его, потому что дети — это время, созревающее в свежем теле, а он, Воцев, устраняется спешащей, действующей молодостью в тишину безвестности, как тщетная попытка жизни добиться своей цели. И Воцев почувствовал стыд и энергию — он захотел немедленно открыть всеобщий, долгий

смысл жизни, чтобы жить впереди детей, быстрее их смуглых ног, наполненных твердой нежностью.

Одна пионерка выбежала из рядов в прилегающую к кузнице ржаную ниву и там сорвала растение. Во время своего действия маленькая женщина нагнулась, обнажив родинку на опухающем теле, и с легкостью неоскутимой силы исчезла мимо, оставляя сожаление в двух зрителях — Вощеве и калеке. Вощев поглядел на инвалида; у того надулось лицо безвыходной кровью, он простонал звук и пошевелил рукою в глубине кармана. Вощев наблюдал настроение могучего увечного, но был рад, что уроду империализма никогда не достанутся социалистические дети. Однако калека смотрел до конца пионерское шествие, и Вощев побоялся за целость и непорочность маленьких людей.

— Ты бы глядел глазами куда-нибудь прочь, — сказал он инвалиду. — Ты бы лучше закурил!

— Марш в сторону, указчик! — произнес безногий. Вощев не двигался.

— Кому говорю? — напомнил калека. — Получить от меня захотел?!

— Нет, — ответил Вощев. — Я испугался, что ты на ту девочку свое слово скажешь или подействуешь как-нибудь.

Инвалид в привычном мучении наклонил свою большую голову к земле.

— Чего ж я скажу ребенку, стервец. Я гляжу на детей для памяти, потому что помру скоро.

— Это, наверно, на капиталистическом сражении тебя повредили, — тихо проговорил Вощев. — Хотя калеки тоже стариками бывают, я их видел.

Увечный человек обратил свои глаза на Вощева, в которых сейчас было зверство превосходящего ума; увечный вначале даже помолчал от обозления на прохожего, а потом сказал с медленностью ожесточения:

— Старики такие бывают, а вот калечных таких, как ты, — нету.

— Я на войне настоящей не был, — сказал Воцев. — Тогда б и я вернулся оттуда не полностью весь.

— Вижу, что ты не был: откуда же ты дурак! Когда мужик войны не видал, то он вроде нерожавшей бабы — идиотом живет. Тебя ж сквозь скорлупу всего заметно!

— Эх!.. — жалобно произнес кузнец. — Гляжу на детей, а самому так и хочется крикнуть: «Да здравствует Первое мая!»

Музыка пионеров отдохнула и заиграла вдали марш движения. Воцев продолжал томиться и пошел в этот город жить.

До самого вечера молча ходил Воцев по городу, словно в ожидании, когда мир станет общеизвестен. Однако ему по-прежнему было неясно на свете, и он ощущал в темноте своего тела тихое место, где ничего не было, но ничто ничему не препятствовало начаться. Как заочно живущий, Воцев гулял мимо людей, чувствуя нарастающую силу горяющего ума и все более уединяясь в тесноте своей печали.

Только теперь он увидел середину города и строящиеся устройства его. Вечернее электричество уже было зажжено на построечных лесах, но полевой свет тишины и вянувший запах сна приблизились сюда из общего пространства и стояли нетронутыми в воздухе. Отдельно от природы в светлом месте электричества с желанием трудились люди, возводя кирпичные огорожи, шагая с ношей груза в тесовом бреду лесов. Воцев долго наблюдал строительство неизвестной ему башни; он видел, что рабочие шевелились равномерно, без резкой силы, но что-то уже прибыло в постройке для ее завершения.

— Не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда прибывают постройки? — не решался верить Воцев. — Дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет? — сомневался Воцев на ходу.

Он отошел из середины города на конец его. Пока он двигался туда, наступила безлюдная ночь; лишь вода и ветер населяли вдали этот мрак и природу, и одни птицы сумели воспеть грусть этого великого вещества, потому что они летали сверху и им было легче.

Воцев забрел в пустырь и обнаружил теплую яму для ночлега; снизившись в эту земную впадину, он положил под голову мешок, куда собирал для памяти и отмщения всякую безвестность, опечалился и с тем уснул. Но какой-то человек вошел на пустырь с косою в руках и начал сечь травяные рощи, росшие здесь испокон века.

К полночи косарь дошел до Воцева и определил ему встать и уйти с площади.

— Чего тебе! — неохотно говорил Воцев. — Какая тут площадь, это лишнее место.

— А теперь будет площадь, теперь здесь положено быть каменному делу. Ты утром приходи поглядеть на это место, а то оно скоро скроется навеки под устройством.

— А где же мне быть?

— Ты смело можешь в бараке доспать. Ступай туда и спи до утра, а утром ты выяснишься.

Воцев пошел по рассказу косаря и вскоре заметил дощатый сарай на бывшем огороде. Внутри сарая спали на спине семнадцать или двадцать человек, и припотушенная лампа освещала бессознательные человеческие лица. Все спящие были худы, как умершие, тесное место меж кожей и костями у каждого было занято жилами, и по толщине жил было видно, как много крови они должны пропускать во время напряжения труда. Ситец рубах с точностью передавал медленную освежающую работу сердца — оно билось вблизи, во тьме опустошенного тела каждого уснувшего. Воцев всмотрелся в лицо ближнего спящего — не выражает ли оно безответного счастья удовлетворенного человека. Но спящий лежал замертво, глубоко и печально скрылись его глаза, и охладевшие ноги беспомощно вытя-

нулись в старых рабочих штанах. Кроме дыханья, в бараке не было звука, никто не видел снов и не разговаривал с воспоминаниями, — каждый существовал без всякого излишка жизни, и во время сна оставалось живым только сердце, берегущее человека. Воцев почувствовал холод усталости и лег для тепла среди двух тел спящих мастеровых. Он уснул, незнакомый этим людям, закрывшим свои глаза, и довольный, что около них ночует, — и так спал, не чувствуя истины, до светлого утра.

Утром Воцеву ударил какой-то инстинкт в голову, он проснулся и слушал чужие слова, не открывая глаз.

— Он слаб!

— Он несознательный.

— Ничего: капитализм из нашей породы делал дураков, и этот — тоже остаток мрака.

— Лишь бы он по сословию подходил: тогда — годится.

— Видя по его телу, класс его бедный.

Воцев в сомнении открыл глаза на свет наступившего дня. Вчерашние спящие живыми стояли над ним и наблюдали его немощное положение.

— Ты зачем здесь ходишь и существуешь? — спросил один, у которого от измождения слабо росла борода.

— Я здесь не существую, — произнес Воцев, стыдясь, что много людей чувствуют сейчас его одного. — Я только думаю здесь.

— А ради чего же ты думаешь, себя мучаешь?

— У меня без истины тело слабнет, я трудом кормиться не могу, я задумывался на производстве, и меня сократили...

Все мастеровые молчали против Воцева: их лица были равнодушны и скучны, редкая, заранее утомленная мысль освещала их терпеливые глаза.

— Что же твоя истина! — сказал тот, кто говорил прежде. — Ты же не работаешь, ты не переживаешь вещества существования, откуда же ты вспомнишь мысль!

— А зачем тебе истина? — спросил другой человек, разомкнув спекшиеся от безмолвия уста. — Только в уме у тебя будет хорошо, а снаружи гадко.

— Вы уж, наверно, все знаете? — с робостью слабой надежды спросил их Вошев.

— А как же иначе? Мы же всем организациям существование даем! — ответил низкий человек из своего высушенного рта, около которого от измождения слабо росла борода.

В это время отворился дверной вход, и Вошев увидел ночного косаря с артельным чайником: кипяток уже поспел на плите, которая топилась на дворе барака: время пробуждения миновало, наступила пора питаться для дневного труда...

Сельские часы висели на деревянной стене и терпеливо шли силой тяжести мертвого груза; розовый цветок был изображен на облике механизма, чтобы утешать всякого, кто видит время. Мастеровые сели в ряд по длине стола, косарь, ведавший женским делом в бараке, нарезал хлеб и дал каждому человеку ломоть, а в прибавок еще по куску вчерашней холодной говядины. Мастеровые начали серьезно есть, принимая в себя пищу как должное, но не наслаждаясь ею. Хотя они и владели смыслом жизни, что равносильно вечному счастью, однако их лица были угрюмы и худы, а вместо покоя жизни они имели измождение. Вошев со скупостью надежды, со страхом утраты наблюдал этих грустно существующих людей, способных без торжества хранить внутри себя истину; он уже был доволен и тем, что истина заключалась на свете в ближнем к нему теле человека, который сейчас только говорил с ним, значит, достаточно лишь быть около того человека, чтобы стать терпеливым к жизни и трудоспособным.

— Иди с нами кушать! — позвали Вошева евские люди.

Воцев встал и, еще не имея полной веры в общую необходимость мира, пошел есть, стесняясь и тоскуя.

— Что же ты такой скудный? — спросили у него.

— Так, — ответил Воцев. — Я теперь тоже хочу работать над веществом существования.

За время сомнения в правильности жизни он редко ел спокойно, всегда чувствуя свою томящую душу.

Но теперь он поел хладнокровно, и наиболее активный среди мастеровых, товарищ Сафронов, сообщил ему после питания, что, пожалуй, и Воцев теперь годится в труд, потому что люди нынче стали дороги, наравне с материалом; вот уже который день ходит профуполномоченный по окрестностям города и пустым местам, чтобы встретить бесхозьяственных бедняков и образовать из них постоянных тружеников, но редко кого приводит — весь народ занят жизнью и трудом.

Воцев уже наелся и встал среди сидящих.

— Чего ты поднялся? — спросил его Сафронов.

— Сидя, у меня мысль еще хуже развивается. Я лучше постою.

— Ну, стой. Ты, наверно, интеллигенция — той лишь бы посидеть да подумать.

— Пока я был бессознательным, я жил ручным трудом, а уж потом — не увидел значения жизни и ослаб.

К бараку подошла музыка и заиграла особые жизненные звуки, в которых не было никакой мысли, но зато имелось ликующее предчувствие, приводившее тело Воцева в дребезжащее состояние радости. Тревожные звуки внезапной музыки давали чувство совести, они предлагали беречь время жизни, пройти даль надежды до конца и достигнуть ее, чтобы найти там источник этого волнующего пения и не заплакать перед смертью от тоски тщетности.

Музыка перестала, и жизнь осела во всех прежней тяжестью.

Профуполномоченный, уже знакомый Вошеву, вошел в рабочее помещение и попросил всю артель пройти один раз поперек старого города, чтобы увидеть значение того труда, который начнется на выкошенном пустыре после шествия.

Артель мастеровых вышла наружу и со смущением остановилась против музыкантов. Сафронов ложно покашливал, стыдясь общественной чести, обращенной к нему в виде музыки. Землекоп Чиклин глядел с удивлением и ожиданием — он не чувствовал своих заслуг, но хотел еще раз прослушать торжественный марш и молча порадоваться. Другие робко опустили терпеливые руки.

Профуполномоченный от забот и деятельности забывал ощущать самого себя, и так ему было легче; в суете сплачивания масс и организации подсобных радостей для рабочих он не помнил про удовлетворение удовольствиями личной жизни, худел и спал глубоко по ночам. Если бы профуполномоченный убавил волнение своей работы, вспомнил про недостаток домашнего имущества в своем семействе или погладил бы ночью свое уменьшившееся, постаревшее тело, он бы почувствовал стыд существования за счет двух процентов тоскующего труда. Но он не мог останавливаться и иметь созерцающее сознание.

Со скоростью, происходящей от беспокойной преданности трудящимся, профуполномоченный выступил вперед, чтобы показать расселившийся усадьбами город квалифицированным мастеровым, потому что они должны сегодня начать постройкой то единое здание, куда войдет на поселение весь местный класс пролетариата, — и тот общий дом возвысится над всем усадебным, дворовым городом, а малые единоличные дома опустеют, их непроницаемо покроет растительный мир, и там постепенно останутся дыхание исчахшие люди забытого времени.

К бараку подошли несколько каменных кладчиков с двух новостроящихся заводов, профуполномоченный на-

прягся от восторга последней минуты перед маршем строителей по городу; музыканты приложили духовые принадлежности к губам, но артель мастеровых стояла врозь, не готовая идти. Сафронов заметил ложное усердие на лицах музыкантов и обиделся за унижаемую музыку.

— Это что еще за игрушку придумали? Куда это мы пойдем — чего мы не видали!

Профуполномоченный потерял готовность лица и почувствовал свою душу — он всегда ее чувствовал, когда его обижали.

— Товарищ Сафронов! Это окрпрофбюро хотело показать вашей первой образцовой артели жалость старой жизни, разные бедные жилища и скучные условия, а также кладбище, где хоронились пролетарии, которые скончались до революции без счастья, — тогда бы вы увидели, какой это погибший город стоит среди равнины нашей страны, тогда бы вы сразу узнали, зачем нам нужен общий дом пролетариату, который вы начнете строить вслед за тем...

— Ты нам не переугождай! — возражающе произнес Сафронов. — Что мы — или не видели мелочных домов, где живут разные авторитеты? Отведи музыку в детскую организацию, а мы справимся с домом по одному своему сознанию.

— Значит, я переугожденец? — все более догадываясь, пугался профуполномоченный. — У нас есть в профбюро один какой-то аллилуйщик, а я, значит, переугожденец?

И, заболев сердцем, профуполномоченный молча пошел в учреждение союза, и оркестр за ним.

На выкошенном пустыре пахло умершей травой и сыростью обнаженных мест, отчего яснее чувствовалась общая грусть жизни и тоска тщетности. Вошеву дали лопату, он сжал ее руками, точно хотел добыть истину из земного праха; обездоленный, Вошев согласен был и не иметь смысла существования, но желал хотя бы наблюдать его

в веществе тела другого, ближнего человека, — и чтобы находиться вблизи того человека, мог пожертвовать на труд все свое слабое тело, истомленное мыслью и бессмысленностью.

Среди пустыря стоял инженер — не старый, но седой от счета природы человек. Весь мир он представлял мертвым телом — он судил его по тем частям, какие уже были им обращены в сооружения: мир всюду поддавался его внимательному и воображающему уму, ограниченному лишь сознанием косности природы; материал всегда сдавался точности и терпению, значит, он был мертв и пустынен. Но человек был жив и достоин среди всего унылого вещества, поэтому инженер сейчас вежливо улыбался мастеровым. Воцев видел, что щеки у инженера были розовые, но не от упитанности, а от излишнего сердцебиения, и Воцеву понравилось, что у этого человека волнуется и бьется сердце.

Инженер сказал Чиклину, что он уже разбил земляные работы и разметил котлован, и показал на вбитые колышки: теперь можно начинать. Чиклин слушал инженера и добавочно проверял его разбивку своим умом и опытом — он во время земляных работ был старшим в артели, грунтовый труд был его лучшей профессией; когда же настанет пора бутовой кладки, то Чиклин подчинится Сафронову.

— Мало рук, — сказал Чиклин инженеру, — это измор, а не работа — время всю пользу съест.

— Биржа обещала прислать пятьдесят человек, а я просил сто, — ответил инженер. — Но отвечать будем за все работы в материке только вы и я: вы — ведущая бригада.

— Мы вести не будем. А будем равнять всех с собой. Лишь бы люди явились.

И сказав это, Чиклин вонзил лопату в верхнюю мякоть земли, сосредоточив вниз равнодушно-задумчивое лицо.

Вошев тоже начал рыть почву вглубь, пуская всю силу в лопату; он теперь допускал возможность того, что детство вырастет, радость делается мыслью и будущий человек найдет себе покой в этом прочном доме, чтобы глядеть из высоких окон в простертый, ждущий его мир. Уже тысячи былинки, корешки и мелких почвенных приютов усердной твари он уничтожил навсегда и работал в теснинах тоскливой глины. Но Чиклин его опередил, он давно оставил лопату и взял лом, чтобы крошить нижние сжатые породы. Упраздняя старинное природное устройство, Чиклин не мог его понять.

От сознания малочисленности своей артели Чиклин спешно ломал вековой грунт, обращая всю жизнь своего тела в удары по мертвым местам. Сердце его привычно билось, терпеливая спина истощалась потом, никакого предохраняющего сала у Чиклина под кожей не было — его старые жилы и внутренности близко подходили наружу, он ощущал окружающее без расчета и сознания, но с точностью. Когда-то он был моложе и его любили девушки — из жадности к его мощному, бредущему куда попало телу, которое не хранило себя и было предано всем. В Чиклине тогда многие нуждались как в укрытии и покое среди его верного тепла, но он хотел укрывать слишком многих, чтобы и самому было чего чувствовать, тогда женщины и товарищи из ревности покидали его, а Чиклин, тоскуя по ночам, выходил на базарную площадь и опрокидывал торговые будки или вовсе уносил их куда-нибудь прочь, за что томился затем в тюрьме и пел оттуда песни в летние вишневые вечера.

К полудню усердие Вошева давало все меньше и меньше земли, он начал уже раздражаться от рытья и отстал от артели; лишь один худой мастеровой работал тише его. Этот задний был угрюм, ничтожен всем телом, пот слабости капал в глину с его мутного однообразного лица, обросшего по окружности редкими волосами; при подъеме

земли на урез котлована он кашлял и вынуждал из себя мокроту, а потом, успокоившись, закрывал глаза, словно желая сна.

— Козлов! — крикнул ему Сафронов. — Тебе опять неможется?

— Опять, — ответил Козлов своим бледным голосом ребенка.

— Наслаждаешься много, — произнес Сафронов. — Будем тебя класть спать теперь на столе под лампой, чтоб ты лежал и стыдился.

Козлов поглядел на Сафронова красными сырыми глазами и промолчал от равнодушного утомления.

— За что он тебя? — спросил Воцев.

Козлов вынул соринку из своего костяного носа и посмотрел в сторону, точно тоскуя о свободе, но на самом деле ни о чем не тосковал.

— Они говорят, — ответил он, — что у меня женщины нету, — с трудом обиды сказал Козлов, — что я ночью под одеялом сам себя люблю, а днем от пустоты тела жить не гожусь. Они ведь, как говорится, все знают!

Воцев снова стал рыть одинаковую глину и видел, что глины и общей земли еще много остается — еще долго надо иметь жизнь, чтобы превозмочь забвеньем и трудом этот залегший мир, спрятавший в своей темноте истину всего существования. Может быть, легче выдумать смысл жизни в голове — ведь можно нечаянно догадаться о нем или коснуться его печально текущим чувством.

— Сафронов, — сказал Воцев, ослабев терпением, — лучше я буду думать без работы, все равно весь свет не разроешь до дна.

— Не выдумашь, — не отвлекаясь сообщил Сафронов, — у тебя не будет памяти вещества, и ты станешь вроде Козлова думать сам себя, как животное.

— Чего ты стонешь, сирота! — отозвался Чиклин спеди. — Смотри на людей и живи, пока родился.

Вощев поглядел на людей и решил кое-как жить, раз они терпят и живут: он вместе с ними произошел и умрет в свое время неразлучно с людьми.

— Козлов, ложись вниз лицом, отдышься! — сказал Чиклин. — Кашляет, вздыхает, молчит, горюет — так могилы роют, а не дома.

Но Козлов не уважал чужой жалости к себе — он сам незаметно погладил за пазухой свою глухую ветхую грудь и продолжал рыть связный грунт. Он еще верил в наступление жизни после постройки больших домов и боялся, что в ту жизнь его не примут, если он представится туда жалобным нетрудовым элементом. Лишь одно чувство трогало Козлова по утрам — его сердце затруднялось биться, но все же он надеялся жить в будущем хотя бы маленьким остатком сердца; однако по слабости груди ему приходилось во время работы гладить себя изредка по верх костей и уговаривать шепотом терпеть.

Уже прошел полдень, а биржа не прислала землекопов. Ночной косарь травы выпался, сварил картошек, полил их яйцами, смочил маслом, подбавил вчерашней каши, посыпал сверху для роскоши укропом и принес в котле эту сборную пищу для развития павших сил артели.

Ели в тишине, не глядя друг на друга и без жадности, не признавая за пищей цены, точно сила человека происходит из одного сознания.

Инженер обошел своим ежедневным обходом разные непрменные учреждения и явился на котлован. Он постоял в стороне, пока люди съели все из котла, и тогда сказал:

— В понедельник будут еще сорок человек. А сегодня — суббота: вам уже пора кончать.

— Как так кончать? — спросил Чиклин. — Мы еще куб или полтора выбросим, раньше кончать ни к чему.

— А надо кончать, — возразил производитель работ. — Вы уже работаете больше шести часов, и есть закон.

— Тот закон для одних усталых элементов, — воспрепятствовал Чиклин, — а у меня еще малость силы осталось до сна. Кто как думает? — спросил он у всех.

— До вечера долго, — сообщил Сафронов, — чего жизни зря пропадать, лучше сделаем вещь. Мы ведь не животные, мы можем жить ради энтузиазма.

— Может, природа нам что-нибудь покажет внизу, — сказал Вошев.

— И то! — произнес неизвестно кто из мастеровых.

Инженер наклонил голову, он боялся пустого домашнего времени, он не знал, как ему жить одному.

— Тогда и я пойду почерчу немного и свайные гнезда посчитаю опять.

— А то что ж: ступай почерти и посчитай! — согласился Чиклин. — Все равно земля вскопана, кругом скучно — отделаемся, тогда назначим жизнь и отдохнем.

Производитель работ медленно отошел. Он вспомнил свое детство, когда под праздники прислуга мыла полы, мать убирала горницы, а по улице текла неприятная вода, и он, мальчик, не знал, куда ему деться, и ему было то скливо и задумчиво. Сейчас тоже погода пропала, над равниной пошли медленные сумрачные облака, и во всей России теперь моют полы под праздник социализма — наслаждаться как-то еще рано и ни к чему; лучше сесть, задуматься и чертить части будущего дома.

Козлов от сытости почувствовал радость, и ум его увеличился.

— Всему свету, как говорится, хозяева, а жрать любят, — сообщил Козлов. — Хозяин бы себе враз дом построил, а вы помрете на порожней земле.

— Козлов, ты скот! — определил Сафронов. — На что тебе пролетариат в доме, когда ты одним своим телом радуешься?

— Пускай радуюсь! — ответил Козлов. — А кто меня любил хоть раз? Терпи, говорят, пока старик капитализм

помрет, теперь он кончился, а я опять живу один под одеялом, и мне ведь грустно!

Вощев заволновался от дружбы к Козлову.

— Грусть — это ничего, товарищ Козлов, — сказал он, — это значит, наш класс весь мир чувствует, а счастье все равно далекое дело... От счастья только стыд начнется!

В следующее время Вощев и другие с ним опять встали на работу. Еще высоко было солнце, и жалобно пели птицы в освещенном воздухе, не торжествуя, а ища пищи в пространстве; ласточки низко мчались над склоненными роющими людьми, они смолкали крыльями от усталости, и под их пухом и перьями был пот нужды — они летали с самой зари, не переставая мучить себя для сытости птенцов и подруг. Вощев поднял однажды мгновенно умершую в воздухе птицу и павшую вниз: она была вся в поту; а когда ее Вощев ощипал, чтобы увидеть тело, то в его руках осталось скудное печальное существо, погибшее от утомления своего труда. И нынче Вощев не жалел себя на уничтожении сросшегося грунта: здесь будет дом, в нем будут храниться люди от невзгоды и бросать крошки из окон живущим снаружи птицам.

Чиклин, не видя ни птиц, ни неба, не чувствуя мысли, грузно разрушал землю ломом, и его плоть истощалась в глинистой выемке, но он не тосковал от усталости, зная, что в ночном сне его тело наполнится вновь.

Истомленный Козлов сел на землю и рубил топором обнажившийся известняк, он работал, не помня времени и места, спуская остатки своей теплой силы в камень, который он рассекал, — камень нагревался, а Козлов постепенно холодел. Он мог бы так весь незаметно скончаться, и разрушенный камень был бы его бедным наследством будущим растущим людям. Штаны Козлова от движения заголились, сквозь кожу обтягивались кривые острые кости голеней, как ножи с зазубринами. Вощев почувствовал от тех беззащитных костей тоскливую нервность, ожидая,

что кости прорвут непрочную кожу и выйдут наружу, он попробовал свои ноги в тех же костных местах и сказал всем:

— Пора пошабашить! А то вы уморитесь, умрете, и кто тогда будет людьми?

Воцев не услышал себе слово в ответ. Уже наставал вечер; вдалеке подымалась синяя ночь, обещающая сон и прохладное дыхание, и — точно грусть — стояла мертвая высота над землей. Козлов по-прежнему уничтожал камень в земле, ни на что не отлучаясь взглядом, и, наверно, скучно билось его ослабевшее сердце.

Производитель работ общепролетарского дома вышел из своей чертежной конторы во время ночной тьмы. Яма котлована была пуста, артель мастеровых заснула в бараке тесным рядом туловищ, и лишь огонь ночной припотушенной лампы проникал оттуда сквозь щели теса, держа свет на всякий несчастный случай или для того, кто внезапно захочет пить. Инженер Прушевский подошел к барраку и поглядел внутрь через отверстие бывшего сучка; около стены спал Чиклин, его опухшая от силы рука лежала на животе, и все тело шумело в питающей работе сна; босой Козлов спал с открытым ртом, горло его клокотало, будто воздух дыхания проходил сквозь тяжелую темную кровь, а из полуоткрытых бледных глаз выходили редкие слезы — от сновидения или неизвестной тоски.

Прушевский отнял голову от досок и подумал. Вдалеке светилась электричеством ночная постройка завода, но Прушевский знал, что там нет ничего, кроме мертвого строительного материала и усталых, недумующих людей. Вот он выдумал единственный общепролетарский дом вместо старого города, где и посейчас живут люди дворовым огороженным способом; через год весь местный пролетариат выйдет из мелкоимущественного города и займет для жизни монументальный новый дом. Через десять или двадцать лет другой инженер построит в середине мира башню,

куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли. Прушевский мог бы уже теперь предвидеть, какое произведение статической механики в смысле искусства и целесообразности следует поместить в центре мира, но не мог предчувствовать устройства души поселенцев общего дома среди этой равнины и тем более вообразить жителей будущей башни посреди всемирной земли. Какое тогда будет тело у юности и от какой волнующей силы начнет биться сердце и думать ум?

Прушевский хотел это знать уже теперь, чтобы не напрасно строились стены его зодчества; дом должен быть населен людьми, а люди наполнены той излишней теплотой жизни, которая названа однажды душой. Он боялся воздвигать пустые здания — те, в каких люди живут лишь из-за непогоды.

Прушевский остыл от ночи и спустился в начатую яму котлована, где было затишье. Некоторое время он поси- дел в глубине; под ним находился камень, сбоку возвыша- лось сечение грунта, и видно было, как на урезе глины, не происходя из нее, лежала почва. Изо всякой ли базы об- разуется надстройка? Каждое ли производство жизненного материала дает добавочным продуктом душу в человека? А если производство улучшить до точной экономии — то будут ли происходить из него косвенные, неожиданные про- дукты?

Инженер Прушевский уже с двадцати пяти лет почув- ствовал стеснение своего сознания и конец дальнейшему понятию жизни, будто темная стена предстала в упор перед его ощущающим умом. И с тех пор он мучился, шевелясь у своей стены, и успокаивался, что, в сущности, самое сре- динное, истинное устройство вещества, из которого ском- бинирован мир и люди, им постигнуто, — вся насущная наука расположена еще до стены его сознания, а за стеною находится лишь скучное место, куда можно и не стремить- ся. Но все же интересно было — не вылез ли кто-нибудь

за стену вперед. Прушевский еще раз подошел к стене барака, согнувшись, поглядел по ту сторону на ближнего спящего, чтобы заметить на нем что-нибудь неизвестное в жизни; но там мало было видно, потому что в ночной лампе иссякал керосин, и слышалось одно медленное, западающее дыхание. Прушевский оставил барак и отправился бриться в парикмахерскую ночных смен; он любил, чтобы во время тоски его касались чьи-нибудь руки.

После полуночи Прушевский пришел на свою квартиру — флигель во фруктовом саду, открыл окно в темноту и сел посидеть. Слабый местный ветер начинал иногда шевелить листья, но вскоре опять наступала тишина. Позади сада кто-то шел и пел свою песню; то был, наверно, счетовод с вечерних занятий или просто человек, которому скучно спать.

Вдалеке, на весу и без спасения, светила неясная звезда, и ближе она никогда не станет. Прушевский глядел на нее сквозь мутный воздух, время шло, и он сомневался:

— Либо мне погибнуть?

Прушевский не видел, кому бы он настолько требовался, чтоб непременно поддерживать себя до еще далекой смерти. Вместо надежды ему осталось лишь терпение, и где-то за чередой ночей, за опавшими, расцветшими и вновь погибшими садами, за встреченными и минувшими людьми существует его срок, когда придется лечь на койку, повернуться лицом к стене и скончаться, не сумев заплакать. На свете будет жить только его сестра, но она родит ребенка, и жалость к нему станет сильнее грусти по мертвому, разрушенному брату.

— Лучше я умру, — подумал Прушевский. — Мною пользуются, но мне никто не рад. Завтра я напишу последнее письмо сестре, надо купить марку с утра.

И, решив скончаться, он лег в кровать и заснул со счастьем равнодушия к жизни. Не успев еще почувствовать всего счастья, он от него проснулся в три часа пополудни.

чи и, осветив квартиру, сидел среди света и тишины, окруженный близкими яблонями, до самого рассвета, и тогда открыл окно, чтобы слышать птиц и шаги пешеходов.

После общего пробуждения в ночлежный барак землекопов пришел посторонний человек. Изю всех мастеровых его знал один только Козлов благодаря своим прошлым конфликтам. Это был товарищ Пашкин, председатель окрпрофсовета. Он имел уже пожилое лицо и согбенный корпус тела — не столько от числа годов, сколько от социальной нагрузки; от этих данных он говорил отечески и почти все знал или предвидел.

«Ну, что ж, — говорил он обычно во время трудности, — все равно счастье наступит исторически». И с покорностью наклонял унылую голову, которой уже нечего было думать.

Близ начатого котлована Пашкин постоял лицом к земле, как ко всякому производству.

— Темп тих, — произнес он мастеровым. — Зачем вы жалеете подымать производительность? Социализм обойдется и без вас, а вы без него проживете зря и помрете.

— Мы, товарищ Пашкин, как говорится, стараемся, — сказал Козлов.

— Где ж стараетесь?! Одну кучу только выкопали!

Стесненные упреком Пашкина, мастеровые промолчали в ответ. Они стояли и видели: верно говорит человек — скорей надо рыть землю и ставить дом, а то умрешь и не поспеешь. Пусть сейчас жизнь уходит, как течение дыхания, но зато посредством устройства дома ее можно организовать впрок — для будущего недвижимого счастья и для детства.

Пашкин глянул вдаль — в равнины и овраги: где-нибудь там ветры начинаются, происходят холодные тучи, разводятся разная комариная мелочь и болезни, размышляют кулаки и спит сельская отсталость, а пролетариат живет один, в этой скучной пустоте, и обязан за всех

все выдумать и сделать вручную вещь долгой жизни. И жалко стало Пашкину все свои профсоюзы, и он познал в себе доброту к трудящимся.

— Я вам, товарищи, определяю по профсоюзной линии какие-нибудь льготы, — сказал Пашкин.

— А откуда же ты льготы возьмешь? — спросил Сафронов. — Мы их вперед должны сделать и тебе передать, а ты нам.

Пашкин посмотрел на Сафронова своими уныло-предвидящими глазами и пошел внутрь города на службу. За ним вслед отправился Козлов и сказал ему, отдалившись:

— Товарищ Пашкин, вон у нас Воцев зачислился, а у него путевки с биржи труда нет. Вы его, как говорится, должны отчислить назад.

— Не вижу здесь никакого конфликта — в пролетариате сейчас убыток, — дал заключение Пашкин и оставил Козлова без утешения. А Козлов тотчас же начал падать пролетарской верой и захотел уйти внутрь города, чтобы писать там опорочивающие заявления и налаживать различные конфликты с целью организационных достижений.

До самого полудня время шло благополучно: никто не приходил на котлован из организующего или технического персонала, но земля все же углублялась под лопатами, считаясь лишь с силой и терпением землекопов. Воцев иногда наклонялся и подымал камешек, а также другой слипшийся прах и клал его на хранение в свои штаны. Его радовало и беспокоило почти вечное пребывание камешка в среде глины, в скоплении тьмы: значит, ему есть расчет там находиться, тем более следует человеку жить.

После полудня Козлов уже не мог надыхаться — он старался вздохнуть серьезно и глубоко, но воздух не проникал, как прежде, вплоть до живота, а действовал лишь поверхностно. Козлов сел в обнаженный грунт и дотронулся руками к костяному своему лицу.

— Расстроился? — спросил его Сафронов. — Тебе для прочности надо бы в физкультуру записаться, а ты уважаешь конфликт: ты мыслишь отстало.

Чиклин без спуска и промежутка громил ломом плиту самородного камня, не останавливаясь для мысли или настроения; он не знал, для чего ему жить иначе — еще вояром станешь или тронешь революцию.

— Козлов опять ослаб! — сказал Чиклину Сафронов. — Не переживет он социализма — какой-то функции в нем не хватает!

Здесь Чиклин сразу начал думать, потому что его жизни некуда было деваться, раз исход ее в землю прекратился; он прислонился влажной спиной к отвесу выемки, глянул вдаль и вообразил воспоминание — больше он ничего думать не мог. В ближнем к котловану овраге сейчас росли понемногу травы и замертво лежал ничтожный песок; неотлучное солнце безрасчетно расточало свое тело на каждую мелочь здешней, низкой жизни, и оно же, посредством теплых ливней, вырыло в старину овраг, но туда еще не помещено никакой пролетарской пользы. Проверая свой ум, Чиклин пошел в овраг и обмерил его привычным шагом, равномерно дыша для счета. Овраг был полностью нужен для котлована, следовало только спланировать откосы и врезать глубину в водоупор.

— Козлов пускай поболееет, — сказал Чиклин, прибыв обратно. — Мы тут рыть далее не будем стараться, а погрузим дом в овраг и оттуда наладим его вверх: Козлов успеет дожить.

Услышав Чиклина, многие прекратили копать грунт и сели вздохнуть. Но Козлов уже отошел от своей усталости и хотел идти к Прушевскому сказать, что землю больше не роют и надо предпринимать существенную дисциплину. Собираясь совершить такую организованную пользу, Козлов заранее радовался и выздоравливал. Однако Сафронов оставил его на месте, лишь только он тронулся.

— Ты что, Козлов, курс на интеллигенцию взял? Вон она сама спускается в нашу массу.

Прушевский шел на котлован впереди неизвестных людей. Письмо сестре он отправил и хотел теперь упорно действовать, беспокоиться о текущих предметах и строить любое здание в чужой прок, лишь бы не тревожить своего сознания, в котором он установил особое нежное равнодушие, согласованное со смертью и с чувством сиротства к остающимся людям. С особой трогательностью он относился к тем людям, которых ранее почему-либо не любил, — теперь он чувствовал в них почти главную загадку своей жизни и пристально вглядывался в чуждые и знакомые глупые лица, волнуясь и не понимая.

Неизвестные люди оказались новыми рабочими, что прислал Пашкин для обеспечения государственного темпа. Но рабочими прибывшие не были: Чиклин сразу, без пристальности, обнаружил в них переученных наоборот городских служащих, разных степных отшельников и людей, привыкших идти тихим шагом позади трудящейся лошади; в их теле не замечалось никакого пролетарского таланта труда, они более способны были лежать навзничь или покоиться как-либо иначе.

Прушевский определил Чиклину расставить свежих рабочих по котловану и дать им выучку, потому что надо уметь жить и работать с теми людьми, которые есть на свете.

— Нам это ничто, — высказался Сафронов. — Мы ихнюю отсталость сразу в активность вышибем.

— Вот-вот, — произнес Прушевский, доверяя, и пошел позади Чиклина на овраг.

Чиклин сказал, что овраг — это более чем пополам готовый котлован и посредством оврага можно сберечь слабых людей для будущего. Прушевский согласился с тем, потому что он все равно умрет раньше, чем кончится здание.

— А во мне пошевельнулось научное сомнение, — сморщив свое вежливо-сознательное лицо, сказал Саф-

ронов. И все к нему прислушались. А Сафронов глядел на окружающих с улыбкой загадочного разума. — Откуда это у товарища Чиклина мировое представление получилось? — произносил постепенно Сафронов. — Иль он особое лобзание в малолетстве имел, что лучше ученого предпочитает овраг! Отчего ты, товарищ Чиклин, думаешь, а я с товарищем Прушевским хожу, как мелочь между классов, и не вижу себе улучшения!..

Чиклин был слишком угрюм для хитрости и ответил приблизительно:

— Некуда жить, вот и думаешь в голову.

Прушевский посмотрел на Чиклина как на бесцельного мученика, а затем попросил произвести разведочное бурение в овраге и ушел в свою канцелярию. Там он начал тщательно работать над выдуманными частями общепролетарского дома, чтобы ощущать предметы и позабыть людей в своих воспоминаниях. Часа через два Воцев принес ему образцы грунта из разведочных скважин. «Наверно, он знает смысл природной жизни», — тихо подумал Воцев о Прушевском и, томимый своей последовательной тоской, спросил:

— А вы не знаете, отчего устроился весь мир?

Прушевский задержался вниманием на Воцеве: неужели они тоже будут интеллигенцией, неужели нас капитализм родил двоешками, — боже мой, какое у него уже теперь скучное лицо!

— Не знаю, — ответил Прушевский.

— А вы бы научились этому, раз вас старались учить.

— Нас учили каждого какой-нибудь мертвой части: я знаю глину, тяжесть веса и механику покоя, но плохо знаю машины и не знаю, почему бьется сердце в животном. Всего целого или что внутри — нам не объяснили.

— Зря, — определил Воцев. — Как же вы живы были так долго? Глина хороша для кирпича, а для вас она мала!

Прушевский взял в руку образец овражного грунта и сосредоточился на нем — он хотел остаться только с этим темным комком земли. Вощев отступил за дверь и скрылся за нею, шепча про себя свою грусть.

Инженер рассмотрел грунт и долго, по инерции самодействующего разума, свободного от надежды и желания удовлетворения, рассчитывал тот грунт на сжатие и деформацию. Прежде, во время чувственной жизни и видимости счастья, Прушевский посчитал бы надежность грунта менее точно, — теперь же ему хотелось беспрерывно заботиться о предметах и устройствах, чтобы иметь их в своем уме и пустом сердце вместо дружбы и привязанности к людям. Занятие техникой покоя будущего здания обеспечивало Прушевскому равнодушие ясной мысли, близкое к наслаждению, — и детали сооружения возбуждали интерес, лучший и более прочный, чем товарищеское волнение с единомышленниками. Вечное вещество, не нуждавшееся ни в движении, ни в жизни, ни в исчезновении, заменяло Прушевскому что-то забытое и необходимое, как существо утраченной подруги.

Окончив счисление своих величин, Прушевский обеспечил несокрушимость будущего общепролетарского жилища и почувствовал утешение от надежности материала, предназначенного охранять людей, живших доселе снаружи. И ему стало легко и неслышно внутри, точно он жил не предсмертную, равнодушную жизнь, а ту самую, про которую ему шептала некогда мать своими устами, но он ее утратил даже в воспоминании.

Не нарушая своего покоя и удивления, Прушевский оставил канцелярию земляных работ. В природе отходил в вечер опустошенный летний день; все постепенно кончалось вблизи и вдали: прятались птицы, ложились люди, смирно курился дым из отдаленных полевых жилищ, где безвестный усталый человек сидел у котелка, ожидая ужина, решив терпеть свою жизнь до конца. На котлова-

не было пусто, землекопы перешли трудиться на овраг, и там сейчас происходило их движение. Прушевскому захотелось вдруг побыть в далеком центральном городе, где люди долго не спят, думают и спорят, где по вечерам открыты гастрономические магазины и оттуда пахнет вином и кондитерскими изделиями, где можно встретить незнакомую женщину и побеседовать с ней всю ночь, испытывая таинственное счастье дружбы, когда хочется жить вечно в этой тревоге; утром же, простившись под потушенным газовым фонарем, разойтись в пустоте рассвета без обещанья встречи.

Прушевский сел на лавочку у канцелярии. Так же он сидел когда-то у дома отца — летние вечера не изменились с тех пор, — и он любил тогда следить за прохожими мимо; иные ему нравились, и он жалел, что не все люди знакомы между собой. Одно же чувство было живо и печально в нем до сих пор: когда-то, в такой же вечер, мимо дома его детства прошла девушка, и он не мог вспомнить ни ее лица, ни года того события, но с тех пор всматривался во все женские лица и ни в одном из них не узнавал той, которая, исчезнув, все же была его единственной подругой и так близко прошла не остановившись.

Во время революции по всей России день и ночь брехали собаки, но теперь они умолкли: настал труд, и трудящиеся спали в тишине. Милиция охраняла снаружи безмолвные рабочих жилищ, чтобы сон был глубок и питателен для утреннего труда. Не спали только ночные смены строителей да тот безногий инвалид, которого встретил Воцев при своем пришествии в этот город. Сегодня он ехал на низкой тележке к товарищу Пашкину, дабы получить от него свою долю жизни, за которой он приезжал раз в неделю.

Пашкин жил в основательном доме из кирпича, чтоб невозможно было сгореть, и открытые окна его жилища выходили в культурный сад, где даже ночью светились цветы. Урод проехал мимо окна кухни, которая шу-

мела, как котельная, производя ужин, и остановился против кабинета Пашкина. Хозяин сидел неподвижно за столом, глубоко вдумавшись во что-то невидимое для инвалида. На его столе находились различные жидкости и баночки для укрепления здоровья и развития активности — Пашкин много приобрел себе классового сознания, он состоял в авангарде; накопил уже достаточно достижений и потому научно хранил свое тело — не только для личной радости существования, но и для ближних рабочих масс. Инвалид обождал время, пока Пашкин, поднявшись от занятия мыслью, проделал всеми членами беглую гимнастику и, доведя себя до свежести, снова сел. Урод хотел произнести свое слово в окно, но Пашкин взял пузырек и после трех медленных вздохов выпил оттуда каплю.

— Долго я тебя буду дожидаться? — спросил инвалид, не сознававший ни цены жизни, ни здоровья. — Опять хочешь от меня кой-чего заработать?

Пашкин нечаянно заволновался, но напряжением ума успокоился — он никогда не желал тратить нервность своего тела.

— Ты что, товарищ Жачев: чем не обеспечен, чего возбуждаешься?

Жачев ответил ему прямо по факту:

— Ты что ж, буржуй, иль забыл, за что я тебя терплю? Тяжесть хочешь получить в слепую кишку? Имей в виду — любой кодекс для меня слаб!

Здесь инвалид вырвал из земли ряд роз, бывших под рукой, и, не пользуясь, бросил их прочь.

— Товарищ Жачев, — ответил Пашкин, — я тебя во все не понимаю: ведь тебе идет пенсия по первой категории, как же так? Я уж и так чем мог всегда тебе шел навстречу.

— Врешь ты, классовый излишек, это я тебе навстречу попадался, а не ты шел!

В кабинет Пашкина вошла его супруга — с красными губами, жующими мясо.

— Левочка, ты опять волнуешься? — сказала она. — Я ему сейчас сверток вынесу: это прямо стало невыносимым, с этими людьми какие угодно нервы испортишь!

Она ушла обратно, волнуясь всем невозможным телом.

— Ишь как жену, стервец, расхарчевал! — произносил из сада Жачев. — На холостом ходу всеми клапанами работает, значит, ты можешь заведовать такой с...!

Пашкин был слишком опытен в руководстве отсталыми, чтобы раздражаться.

— Ты бы и сам, товарищ Жачев, вполне мог содержать для себя подругу: в пенсии учитываются все минимальные потребности.

— Ого, гадина тактичная какая! — определил Жачев из мрака. — Моей пенсии и на пшено не хватает — на просо только. А я хочу жиру и что-нибудь молочного. Скажи своей мерзавке, чтоб она мне в бутылку сливок погуще налила!

Жена Пашкина вошла в комнату мужа со свертком.

— Оля, он еще сливок требует, — обратился Пашкин.

— Ну вот еще! Может, ему крепдешину еще купить на штаны? Ты ведь выдумашь!

— Она хочет, чтоб я ей юбку на улице разрезал, — сказал с клумбы Жачев. — Иль окно спальни прошиб до самого пудренного столика, где она свою рожу уснащивает, — она от меня хочет заработать!..

Жена Пашкина помнила, как Жачев послал в ОблКК заявление на ее мужа и целый месяц шло расследование, — даже к имени придирались: почему и Лев и Ильич? Уж что-нибудь одно! Поэтому она немедленно вынесла инвалиду бутылку кооперативных сливок, и Жачев, получив через окно сверток и бутылку, отбыл из усадебного сада.

— И качество продуктов я дома проверю, — сообщил он, остановив свой экипаж у калитки. — Если опять пор-

ченный кусок говядины или просто объедок попадет — надейтесь на кирпич в живот: по человечеству я лучше вас — мне нужна достойная пища.

Оставшись с супругой, Пашкин до самой полночи не мог превозмочь в себе тревоги от уroda. Жена Пашкина умела думать от скуки, и она выдумала во время семейного молчания вот что:

— Знаешь что, Левочка?.. Ты бы организовал как-нибудь этого Жачева, а потом взял и продвинул его на должность — пусть бы хоть увечными он руководил! Ведь каждому человеку нужно иметь хоть маленькое господствующее значение, тогда он спокоен и приличен... Какой ты все-таки, Левочка, доверчивый и нелепый!

Пашкин, услышав жену, почувствовал любовь и покойствие, к нему снова возвращалась основная жизнь.

— Ольгуша, лягушечка, ведь ты гигантски чуешь массы! Дай я к тебе за это приорганизуюсь!

Он приложил свою голову к телу жены и затих в наслаждении счастьем и теплотой. Ночь продолжалась в саду, вдалеке скрипела тележка Жачева — по этому скрипящему признаку все мелкие жители города хорошо знали, что сливочного масла нет, ибо Жачев всегда смазывал свою повозку именно сливочным маслом, получаемым в свертках от достаточных лиц; он нарочно стравлял продукт, чтобы лишняя сила не прибавлялась в буржуазное тело, а сам не желал питаться этим зажиточным веществом. В последние два дня Жачев почему-то почувствовал желание увидеть Никиту Чиклина и направил движение своей тележки на земляной котлован.

— Никит! — позвал он у ночлежного барака. После звука еще более стала заметна ночь, тишина и общая грусть слабой жизни во тьме. Из барака не раздалось ответа Жачеву, лишь слышалось жалкое дыхание.

«Без сна рабочий человек давно бы кончился», — подумал Жачев и без шума поехал дальше. Но из овра-

га вышли двое людей с фонарями, так что Жачев стал им виден.

— Ты кто такой низкий? — спросил голос Сафронова.

— Это я, — сказал Жачев, — потому что меня капитал пополам сократил. А нет ли между вами двумя одного Никиты?

— Это не животное, а прямо человек! — отозвался тот же Сафронов. — Скажи ему, Чиклин, мнение про себя.

Чиклин осветил фонарем лицо и все краткое тело Жачева, а затем в смущении отвел фонарь в темную сторону.

— Ты что, Жачев? — тихо произнес Чиклин. — Кашу приехал есть? Пойдем, у нас она осталась, а то к завтраму прокиснет, все равно мы ее вышвыриваем.

Чиклин боялся, чтобы Жачев не обижался на помощь и ел кашу с тем сознанием, что она уже ничья и ее все равно вышвырнут. Жачев и прежде, когда Чиклин работал на прочистке реки от карчи, посещал его, дабы кормиться от рабочего класса; но среди лета он переменял курс и стал питаться от максимального класса, чем рассчитывал принести пользу всему неимущему движению в дальнейшее счастье.

— Я по тебе соскучился, — сообщил Жачев, — меня нахождение сволочи мучает, и я хочу спросить у тебя, когда вы состроите свою чушь, чтоб город сжечь!

— Вот сделай знак из такого лопуха! — сказал Сафронов про урода. — Мы все свое тело выдавливаем для общего здания, а он дает лозунг, что наше состояние — чушь, и нигде нету момента чувства ума!

Сафронов знал, что социализм — это дело научное, и произносил слова так же логично и научно, давая им для прочности два смысла — основной и запасной, как всякому материалу. Все трое уже достигли барака и вошли в него. Вощев достал из угла чугуна каши, закутанный для сохранения тепла в ватный пиджак, и дал пришедшим

есть. Чиклин и Сафронов сильно остыли и были в глине и сырости; они ходили в котлован раскапывать водяной подземный исток, чтобы перехватить его вмертвую глиняным замком.

Жачев не развернул своего свертка, а съел общую кашу, пользуясь ею и для сытости, и для подтверждения своего равенства с двумя евшими людьми. После пищи Чиклин и Сафронов вышли наружу — вздохнуть перед сном и поглядеть вокруг. И так они стояли там свое время. Звездная темная ночь не соответствовала овражной, трудной земле и сбивающемуся дыханию спящих землекопов. Если глядеть лишь по низу, в сухую мелочь почвы и в травы, живущие в гуще и бедности, то в жизни не было надежды; общая всемирная невзрачность, а также людская некультурная унылость озадачивали Сафронова и расшатывали в нем идеологическую установку. Он даже начинал сомневаться в счастье будущего, которое представлял в виде синего лета, освещенного неподвижным солнцем, — слишком смутно и тщетно было днем и ночью вокруг.

— Чиклин, что же ты так молча живешь? Ты бы сказал или сделал мне что-нибудь для радости!

— Что ж мне, обнимать тебя, что ли, — ответил Чиклин. — Вот выроем котлован, и ладно... Ты вот тех, кого нам биржа прислала, уговори, а то они свое тело на работе жалеют, будто они в нем имеют что!

— Могу, — ответил Сафронов, — смело могу! Я этих пастухов и писцов враз в рабочий класс обращаю, они у меня так копать начнут, что у них весь смертный элемент выйдет на лицо... А отчего, Никит, поле так скучно лежит? Неужели внутри всего света тоска, а только в нас одних пятилетний план?

Чиклин имел маленькую каменистую голову, густо обросшую волосами, потому что всю жизнь либо бил балдой, либо рыл лопатой, а думать не успевал и не объяснил Сафронову его сомнения.

Они вздохнули среди наставшей тишины и пошли спать. Жачев уже согнулся на своей тележке, уснув как мог, а Воцев лежал навзничь и глядел глазами с терпением любопытства.

— Говорили, что все на свете знаете, — сказал Воцев, — а сами только землю роете и спите! Лучше я от вас уйду — буду ходить по колхозам побираться: все равно мне без истины стыдно жить.

Сафронов сделал на своем лице определенное выражение превосходства, прошелся мимо ног спящих легкой, руководящей походкой.

— Э-э, скажите, пожалуйста, товарищ, в каком виде вам желательно получить этот продукт — в круглом или жидком?

— Не трожь его, — определил Чиклин, — мы все живем на пустом свете, разве у тебя спокойно на душе?

Сафронов, любивший красоту жизни и вежливость ума, стоял с почтением к участи Воцева, хотя в то же время глубоко волновался: не есть ли истина лишь классовый враг? Ведь он теперь даже в форме сна и воображенья может предстать!

— Ты, товарищ Чиклин, пока воздержись от своей декларации, — с полной значительностью обратился Сафронов. — Вопрос встал принципиально, и надо его класть обратно по всей теории чувств и массового психоза...

— Довольно тебе, Сафронов, как говорится, зарплату мне снижать, — сказал пробуженный Козлов. — Перестань брать слово, когда мне спится, а то на тебя заявление подам! Не беспокойся — сон ведь тоже как зарплата считается, там тебе укажут...

Сафронов произнес во рту какой-то нравоучительный звук и сказал своим вящим голосом:

— Извольте, гражданин Козлов, спать нормально — что это за класс нервной интеллигенции здесь присутствует, если звук сразу в бюрократизм растет?.. А если ты, Козлов, умственную начинку имеешь и в авангарде ле-

жишь, то привстань на локоть и сообщи: почему это товарищу Вошеву буржуазия не оставила ведомости всемирного мертвого инвентаря и он живет в убытке и в такой смехотворности?..

Но Козлов уже спал и чувствовал лишь глубину своего тела. Вошев же лег вниз лицом и стал жаловаться шепотом самому себе на таинственную жизнь, в которой он безжалостно родился.

Все последние бодрствующие легли и успокоились; ночь замерла рассветом — и только одно маленькое животное кричало где-то на светлеющем теплом горизонте, тоскуя или радуясь.

Чиклин сидел среди спящих и молча переживал свою жизнь; он любил иногда сидеть в тишине и наблюдать все, что было видно. Думать он мог с трудом и сильно тужил об этом — поневоле ему приходилось лишь чувствовать и безмолвно волноваться. И чем больше он сидел, тем гуще в нем от неподвижности скапливалась печаль, так что Чиклин встал и уперся руками в стену барака, лишь бы давить и двигаться во что-нибудь. Спать ему никак не хотелось — наоборот, он бы пошел сейчас в поле и поплясал с разными девушками и людьми под веточками, как делал в старое время, когда работал на кафельно-изразцовом заводе. Там дочь хозяина его однажды моментально поцеловала: он шел в глиномялку по лестнице в июне месяце, а она ему шла навстречу и, приподнявшись на скрытых под платьем ногах, охватила его за плечи и поцеловала своими опухшими, молчаливыми губами в шерсть на щеке. Чиклин теперь уже не помнит ни лица ее, ни характера, но тогда она ему не понравилась, точно была постыдным существом, — и так он прошел в то время мимо нее не остановившись, а она, может быть, и плакала потом, благородное существо.

Надев свой ватный, желто-тифозного цвета пиджак, который у Чиклина был единственным со времен покорения буржуазии, обосновавшись на ночь, как на зиму,

он собрался пойти походить по дороге и, совершив что-нибудь, уснуть затем в утренней росе.

Неизвестный вначале человек вошел в ночлежное помещение и стал в темноте входа.

— Вы еще не спите, товарищ Чиклин! — сказал Прушевский. — Я тоже хожу и никак не усну: все мне кажется, что я кого-то утратил и никак не могу встретить...

Чиклин, уважавший ум инженера, не умел ему сочувственно ответить и со стеснением молчал.

Прушевский сел на скамью и поник головой; решив исчезнуть со света, он больше не стыдился людей и сам пришел к ним.

— Вы меня извините, товарищ Чиклин, но я все время беспокоюсь один на квартире. Можно, я просижу здесь до утра?

— А отчего ж нельзя? — сказал Чиклин. — Среди нас ты будешь отдыхать спокойно, ложись на мое место, а я где-нибудь пристроюсь.

— Нет, я лучше так посижу. Мне дома стало грустно и страшно, я не знаю, что мне делать. Вы, пожалуйста, не думайте только что-нибудь про меня неправильно.

Чиклин и не думал ничего.

— Не уходи отсюда никуда, — произнес он. — Мы тебя никому не дадим тронуть, ты теперь не бойся.

Прушевский сидел все в том же своем настроении; лампа освещала его серьезное, чуждое счастливого самочувствия лицо, но он уже жалел, что поступил несознательно, прибыв сюда: все равно ему уже не так долго осталось терпеть до смерти и до ликвидации всего.

Сафронов приоткрыл от разговорного шума один глаз и думал, какую бы ему наиболее благополучную линию принять в отношении сидящего представителя интеллигенции. Сообразив, он сказал:

— Вы, товарищ Прушевский, насколько я имею сведения, свою кровь портили, чтобы выдумать по всем усло-

виям общепролетарскую жилплощадь. А теперь, я наблюдаю, вы явились ночью в пролетарскую массу, как будто сзади вас ярость какая находится! Но раз курс на спецов есть, то ложитесь против меня, чтоб вы постоянно видели мое лицо и смело спали...

Жачев тоже проснулся на тележке.

— Может, он кушать хочет? — спросил он для Прушевского. — А то у меня есть буржуйская пища.

— Какая такая буржуйская и сколько в ней питательности, товарищ? — поражаясь, произнес Сафронов. — Где это вам представился буржуазный персонал?

— Стихи, темная мелочь! — ответил Жачев. — Твое дело целым остаться в этой жизни, а мое — погибнуть, чтоб очистить место!

— Ты не бойся, — говорил Чиклин Прушевскому, — ложись и закрывай глаза. Я буду недалеко, как испугаешься, так кричи меня.

Прушевский пошел, пригнувшись, чтоб не шуметь, на место Чиклина и там лег в одежде.

Чиклин снял с себя ватный пиджак и бросил ему на ноги одеваться.

— Я четыре месяца взносов в профсоюз не платил, — тихо сказал Прушевский, сразу озябнув внизу и укрываясь. — Все думал, что успею.

— Теперь вы механически выбывший человек: факт! — сообщил со своего места Сафронов.

— Спите молча! — сказал Чиклин всем и вышел наружу, чтобы пожить одному среди скучной ночи.

Утром Козлов долго стоял над спящим телом Прушевского; он мучился, что это руководящее умное лицо спит, как ничтожный гражданин, среди лежащих масс, и теперь потеряет свой авторитет. Козлову пришлось глубоко соображать над таким недоуменным обстоятельством, он не хотел и был не в силах допустить вред для всего государ-

ства от несоответствующей линии прораба, он даже заволновался и поспешно умылся, чтобы быть наготове. В такие минуты жизни, минуты грозящей опасности, Козлов чувствовал внутри себя горячую социальную радость и эту радость хотел применить на подвиг и умереть с энтузиазмом, дабы весь класс его узнал и заплакал над ним. Здесь Козлов даже продрог от восторга, забыв о летнем времени. Он с сознанием подошел к Прушевскому и разбудил его от сна.

— Уходите на свою квартиру, товарищ прораб, — хладнокровно сказал он. — Наши рабочие еще не подтянулись до всего понятия, и вам будет некрасиво нести должность.

— Не ваше дело, — ответил Прушевский.

— Нет, извините, — возразил Козлов, — каждый, как говорится, гражданин обязан нести данную ему директиву, а вы свою бросаете вниз и равняетесь на отсталость. Это никуда не годится, я пойду в инстанцию, вы нашу линию портите, вы против темпа и руководства — вот что такое!

Жачев ел деснами и молчал, предпочитая ударить сегодня же, но попозднее Козлова в живот, как рвущуюся вперед сволочь. А Воцев слышал эти слова и возгласы, лежал без звука, по-прежнему не постигая жизнь. «Лучше б я комаром родился: у него судьба быстротечна», — полагал он.

Прушевский, не говоря ничего Козлову, встал с ложа, посмотрел на знакомого ему Воцева и сосредоточился далее взглядом на спящих людях; он хотел произнести томящее его слово или просьбу, но чувство грусти, как усталость, прошло по лицу Прушевского, и он стал уходить. Шедший со стороны рассвета Чиклин сказал Прушевскому:

— Если вечером ему опять покажется страшно, то пусть приходит снова ночевать, и если чего-нибудь хочет, пусть лучше говорит.

Но Прушевский не ответил, и они молча продолжали вдвоем свою дорогу. Уныло и жарко начинался долгий день; солнце, как слепота, находилось равнодушно над низовой бедностью земли; но другого места для жизни не было дано.

— Однажды, давно — почти еще в детстве, — сказал Прушевский, — я заметил, товарищ Чиклин, проходящую мимо меня женщину, такую же молодую, как я тогда. Дело было, наверное, в июне или июле, и с тех пор я почувствовал тоску и стал все помнить и понимать, а ее не видел и хочу еще раз посмотреть на нее. А больше уж ничего не хочу.

— В какой местности ты ее заметил? — спросил Чиклин.

— В этом же городе.

— Так она, должно быть, дочь кафельщика! — догадался Чиклин.

— Почему? — произнес Прушевский. — Я не понимаю!

— А я ее тоже встречал в июне месяце и тогда же отказался смотреть на нее. А потом, спустя срок, у меня нагрелось к ней что-то в груди, одинаково с тобой. У нас с тобой был один и тот же человек.

Прушевский скромно улыбнулся:

— Но почему же?

— Потому что я к тебе ее приведу, и ты ее увидишь; лишь бы она жила сейчас на свете!

Чиклин с точностью воображал себе горе Прушевского, потому что и он сам, хотя и более забывчиво, грустил когда-то тем же горем — по худому, чужеродному, легкому человеку, молча поцеловавшему его в левый бок лица. Значит, один и тот же редкий, прелестный предмет действовал вблизи и вдали на них обоих.

— Небось уж она пожилой теперь стала, — сказал вскоре Чиклин. — Наверно, измучилась вся, и кожа на ней стала бурая или кухарочная.

— Наверно, — подтвердил Прушевский. — Времени прошло много, и если жива еще она, то вся обуглилась.

Они остановились на краю овражного котлована; надо бы гораздо раньше начать рыть такую пропасть под общий дом, тогда бы и то существо, которое понадобилось Прушевскому, пребывало здесь в целости.

— А скорей всего она теперь сознательница, — произнес Чиклин, — и действует для нашего блага: у кого в молодых годах было несчетное чувство, у того потом ум является.

Прушевский осмотрел пустой район ближайшей природы, и ему жалко стало, что его потерянная подруга и многие нужные люди обязаны жить и теряться на этой смертной земле, на которой еще не устроено уюта, и он сказал Чиклину одно огорчающее соображение:

— Но ведь я не знаю ее лица! Как же нам быть, товарищ Чиклин, когда она придет?

Чиклин ответил ему:

— Ты ее почувствуешь и узнаешь — мало ли забытых на свете! Ты вспомнишь ее по одной своей печали!

Прушевский понял, что это правда, и, побоявшись не угодить чем-нибудь Чиклину, вынул часы, чтобы показать свою заботу о близком дневном труде.

Сафронов, делая интеллигентную походку и задумчивое лицо, приблизился к Чиклину.

— Я слышал, товарищи, вы свои тенденции здесь бросали, так я вас попрошу стать попассивнее, а то время производству настает! А тебе, товарищ Чиклин, надо бы установку на Козлова взять — он на саботаж линию берет.

Козлов в то время ел завтрак в тоскующем настроении: он считал свои революционные заслуги недостаточными, а ежедневно приносимую общественную пользу — малой. Сегодня он проснулся после полуночи и до утра внимательно томился о том, что главное организационное строительство идет помимо его участия, а он действует лишь

в овраге, но не в гигантском руководящем масштабе. К утру Козлов постановил для себя перейти на инвалидную пенсию, чтобы целиком отдаться наибольшей общественной пользе, — так в нем с мучением высказывалась пролетарская совесть.

Сафронов, услышав от Козлова эту мысль, счел его паразитом и произнес:

— Ты, Козлов, свой принцип заимел и покидаешь рабочую массу, а сам вылезаете вдаль: значит, ты чужая вша, которая свою линию всегда наружу держит.

— Ты, как говорится, лучше молчи! — сказал Козлов. — А то живо на заметку попадешь!.. Помнишь, как ты подговорил одного бедняка во время самого курса на коллективизацию петуха зарезать и съесть? Помнишь? Мы знаем, кто коллективизацию хотел ослабить! Мы знаем, какой ты четкий!

Сафронов, в котором идея находилась в окружении житейских страстей, оставил весь резон Козлова без ответа и отошел от него прочь своей свободомыслящей походкой. Он не уважал, чтобы на него подавались заявления.

Чиклин подошел к Козлову и спросил у него про все.

— Я сегодня в соцстрах пойду становиться на пенсию, — сообщил Козлов. — Хочу за всем следить против социального вреда и мелкобуржуазного бунта.

— Рабочий класс не царь, — сказал Чиклин, — он бунтов не боится.

— Пускай не боится, — согласился Козлов. — Но все-таки лучше будет, как говорится, его постеречь.

Жачев уже был вблизи на тележке, и, откатившись назад, он разогнался вперед и ударил со всей скорости Козлова молчаливой головой в живот. Козлов упал назад от ужаса, потеряв на минуту желание наибольшей общественной пользы. Чиклин, согнувшись, поднял Жачева вместе с экипажем на воздух и зашвырнул прочь в пространство. Жачев, уравновесив движение, успел сообщить

с линии полета свои слова: «За что, Никит? Я хотел, чтоб он первый разряд пенсии получил!» — и раздробил повозку между телом и землей благодаря падению.

— Ступай, Козлов! — сказал Чиклин лежащему человеку. — Мы все, должно быть, по очереди туда уйдем. Тебе уж пора отдышаться.

Козлов, опомнившись, заявил, что он видит в ночных снах начальника Цустраха товарища Романова и разное общество чисто одетых людей, так что волнуется всю эту неделю.

Вскоре Козлов оделся в пиджак, и Чиклин совместно с другими очистил его одежду от земли и приставшего сора. Сафронов управился принести Жачева и, свалив его изнемогшее тело в угол барака, сказал:

— Пускай это пролетарское вещество здесь полежит — из него какой-нибудь принцип вырастет.

Козлов дал всем свою руку и пошел становиться на пенсию.

— Прощай, — сказал ему Сафронов, — ты теперь как передовой ангел от рабочего состава, ввиду вознесения его в служебные учреждения...

Козлов и сам умел думать мысли, поэтому безмолвно отошел в высшую общепользную жизнь, взяв в руку свой имущественный сундучок.

В ту минуту за оврагом, по полю, мчался один человек, которого еще нельзя было разглядеть и остановить; его тело отошало внутри одежды, и штаны колебались на нем, как порожние. Человек добежал до людей и сел отдельно на земляную кучу, как всем чужой. Один глаз он закрыл, а другим глядел на всех, ожидая худого, но не собираясь жаловаться; глаз его был хуторского, желтого цвета, оценивающий всю видимость со скорбью экономии.

Вскоре человек вздохнул и лег дремать на животе. Ему никто не возражал здесь находиться, потому что мало ли кто еще живет без участия в строительстве — и уже настало время труда в овраге.

Разные сны представляются трудящемуся по ночам — одни выражают исполненную надежду, другие предчувствуют собственный гроб в глинистой могиле; но дневное время проживается одинаковым, сгорбленным способом — терпением тела, роющего землю, чтобы посадить в свежую пропасть вечный, каменный корень неразрушимого зодчества.

Новые землекопы постепенно обжились и привыкли работать. Каждый из них придумал себе идею будущего спасения отсюда — один желал нарастить стаж и уйти учиться, второй ожидал момента для переквалификации, третий же предпочитал пройти в партию и скрыться в руководящем аппарате, — и каждый с усердием рыл землю, постоянно помня эту свою идею спасения.

Пашкин посещал котлован через день и по-прежнему находил темп тихим. Обыкновенно он приезжал верхом на коне, так как экипаж продал в эпоху режима экономии, и теперь наблюдал со спины животного великое рытье. Однако Жачев присутствовал тут же и сумел во время пеших отлучек Пашкина в глубь котлована опойть лошадь так, что Пашкин стал беречься ездить всадником и прибывал на автомобиле.

Воцев, как и раньше, не чувствовал истины жизни, но смирился от истощения тяжелым грунтом и только собирал в выходные дни всякую несчастную мелочь природы как документы беспланового создания мира, как факты меланхолии любого живущего дыхания.

И по вечерам, которые теперь были темнее и дольше, стало скучно жить в бараке. Мужик с желтыми глазами, что прибежал откуда-то из полевой страны, жил также среди артели; он находился там безмолвно, но искупал свое существование женской работой по общему хозяйству вплоть до прилежного ремонта истертой одежды. Сафронов уже рассуждал про себя: не пора ли проводить этого мужика в союз как обслуживающую силу, но не знал,

сколько скотины у него в деревне на дворе и отсутствуют ли батраки, поэтому задерживал свое намерение.

По вечерам Вощев лежал с открытыми глазами и тосковал о будущем, когда все станет общеизвестным и помещенным в скупое чувство счастья. Жачев убеждал Вощева, что его желание безумное, потому что вражья имущая сила вновь происходит и загоразивает свет жизни, надо лишь сберечь детей как нежность революции и оставить им наказ.

— А что, товарищи, — сказал однажды Сафронов, — не поставить ли нам радио для заслушанья достижений и директив! У нас есть здесь отсталые массы, которым полезна была бы культурная революция и всякий музыкальный звук, чтоб они не скопляли в себе темное настроение!

— Лучше девочку-сиротку привести за ручку, чем твое радио, — возразил Жачев.

— А какие, товарищ Жачев, заслуги или поученье в твоей девочке? Чем она мучается для возведения всего строительства?

— Она сейчас сахару не ест для твоего строительства, вот чем она служит, единогласная душа из тебя вон! — ответил Жачев.

— Ага, — вынес мнение Сафронов, — тогда, товарищ Жачев, доставь нам на своем транспорте эту жалобную девочку, мы от ее мелодичного вида начнем более согласованно жить.

И Сафронов остановился перед всеми в положении вождя ликбеза и просвещения, а затем прошелся убежденной походкой и сделал активно мыслящее лицо.

— Нам, товарищи, необходимо здесь иметь в форме детства лидера будущего пролетарского света: в этом товарищ Жачев оправдал то положение, что у него голова целая, а ног нету.

Жачев хотел сказать Сафронову ответ, но предпочел притянуть к себе за штанину ближнего хуторского мужика

и дать ему развитой рукой два удара в бок, как наличному виноватому буржую. Желтые глаза мужика только зажмурились от муки, но сам он не сделал себе никакой защиты и молча стоял на земле.

— Ишь ты, железный инвентарь какой, — стоит и не боится, — рассердился Жачев и снова ударил мужика с навеса длинной рукой. — Значит, ему, ехидному, где-то еще больней было, а у нас прелесть: чуй, чья власть, коровий супруг!

Мужик сел вниз для отдышки. Он уже привык получать от Жачева удары за свою собственность в деревне и неслышно перевозмогал боль.

— Вот еще надлежало бы и товарищу Вощеву приобрести от Жачева карающий удар, — сказал Сафронов. — А то он один среди пролетариата не знает, для чего ему жить.

— А для чего, товарищ Сафронов? — прислушался Вошев издали сарая. — Я хочу истину для производительности труда.

Сафронов изобразил рукой жест нравоучения, и на лице его получилась морщинистая мысль жалости к отсталому человеку.

— Пролетариат живет для энтузиазма труда, товарищ Вошев! Пора бы тебе получить эту тенденцию. У каждого члена союза от этого лозунга должно тело гореть!

Чиклина не было, он ходил по местности вокруг кафельного завода. Все находилось в прежнем виде, только приобрело ветхость отживающего мира; уличные деревья рассыхались от старости и стояли давно без листьев, но кто-то существовал еще, притаившись за двойными рамами в маленьких домах, живя прочней дерева. В молодости Чиклина здесь пахло пекарней, ездили угольщики и громко пропагандировалось молоко с деревенских телег. Солнце детства нагревало тогда пыль дорог, и своя жизнь была вечностью среди синей, смутной земли, которой Чиклин

лишь начинал касаться босыми ногами. Теперь же воздух ветхости и прощальной памяти стоял над потухшей пекарней и постаревшими яблоневыми садами.

Непрерывно действующее чувство жизни Чиклина доводило его до печали тем более, что он увидел один забор, у которого сидел и радовался в детстве, а сейчас тот забор заиндевел мхом, наклонился, и давние гвозди торчали из него, освобождаемые из тесноты древесины силой времени; это было грустно и таинственно, что Чиклин мужал, забывчиво тратил чувство, ходил по далеким местам и разнообразно трудился; а старик забор стоял неподвижно и, помня о нем, все же дождался часа, когда Чиклин прошел мимо него и погладил забвенные всеми тесины отвыкшей от счастья рукой.

Кафельный завод был в травянистом переулке, по которому насквозь никто не проходил, потому что он упирался в глухую стену кладбища. Здание завода теперь стало ниже, ибо постепенно вращало в землю, и безлюдно было на его дворе. Но один неизвестный старичок еще находился здесь — он сидел под навесом для сырья и чинил лапти, видно, собираясь отправляться в них обратно в старину.

— Что же тут такое есть? — спросил у него Чиклин.

— Тут, дорогой человек, констервация — советская власть сильна, а здешняя машина тщедушна, она и не угождает. Да мне теперь почти что все равно: уж самую малость осталось дышать.

Чиклин сказал ему:

— Изо всего света тебе одни лапти пришили! Подожди меня здесь на одном месте, я тебе что-нибудь доставлю из одежды или питанья.

— А ты сам-то кто же будешь? — спросил старик, складывая для внимательного выраженья свое чтущее лицо. — Жулик, что ль, иль просто хозяин-буржуй?

— Да я из пролетариата, — нехотя сообщил Чиклин.

— Ага, стало быть, ты нынешний царь: тогда я тебя обожду.

С силой стыда и грусти Чиклин вошел в старое здание завода; вскоре он нашел и ту деревянную лесенку, на которой некогда его поцеловала хозяйская дочь, — лесенка так обветшала, что обвалилась от веса Чиклина куда-то в нижнюю темноту и он мог на последнее прощанье только пощупать ее истомленный прах. Постояв в темноте, Чиклин увидел в ней неподвижный, чуть живущий свет и куда-то ведущую дверь. За тою дверью находилось забытое или не внесенное в план помещение без окон, и там горела на полу керосиновая лампа.

Чиклину было неизвестно, какое существо притаилось для своей сохранности в этом безвестном убежище, и он стал на месте посреди.

Около лампы лежала женщина на земле, солома уже истерлась под ее телом, а сама женщина была почти непокрытая одеждой; глаза ее глубоко смежились, точно она томилась или спала, и девочка, которая сидела у ее головы, тоже дремала, но все время водила по губам матери коркой лимона, не забывая об этом. Очнувшись, девочка заметила, что мать успокоилась, потому что нижняя челюсть ее отвалилась от слабости и разверзла беззубый темный рот; девочка испугалась своей матери и, чтобы не бояться, подвязала ей рот веревочкой через темя, так что уста женщины вновь сомкнулись. Тогда девочка прилегла к лицу матери, желая чувствовать ее и спать. Но мать легко пробудилась и сказала:

— Зачем же ты спишь? Мажь мне лимоном по губам, ты видишь, как мне трудно.

Девочка опять начала водить лимонной коркой по губам матери. Женщина на время замерла, ощущая свое питание из лимонного остатка.

— А ты не заснешь и не уйдешь от меня? — спросила она у дочери.

— Нет, я уж спать теперь расхотела. Я только глаза закрою, а думать все время буду о тебе: ты же моя мама ведь!

Мать приоткрыла свои глаза, они были подозрительные, готовые ко всякой беде жизни, уже побелевшие от равнодушия, и она произнесла для своей защиты:

— Мне теперь стало тебя не жалко и никого не нужно, я стала как каменная, потуши лампу и поверни меня на бок, я хочу умереть.

Девочка сознательно молчала, по-прежнему смачивая материнский рот лимонной шкуркой.

— Туши свет, — сказала старая женщина, — а то я все вижу тебя и живу. Только не уходи никуда, когда я умру, тогда пойдешь.

Девочка дунула в лампу и потушила свет. Чиклин сел на землю, боясь шуметь.

— Мама, ты жива еще или уже тебя нет? — спросила девочка в темноте.

— Немножко, — ответила мать. — Когда будешь уходить от меня, не говори, что я мертвая здесь осталась. Никому не рассказывай, что ты родилась от меня, а то тебя заморят. Уйди далеко-далеко отсюда и там сама позабудься, тогда ты будешь жива...

— Мама, а отчего ты умираешь — оттого, что буржуйка, или от смерти?..

— Мне стало скучно, я уморилась, — сказала мать.

— Потому что ты родилась давно-давно, а я нет, — говорила девочка. — Как ты только умрешь, то я никому не скажу, и никто не узнает, была ты или нет. Только я одна буду жить и помнить тебя в своей голове... знаешь, что, — помолчала она, — я сейчас засну на одну только каплю, даже на полкапли, а ты лежи и думай, чтоб не умереть.

— Сними с меня твою веревочку, — сказала мать, — она меня задушит.

Но девочка уже неслышно спала, и стало вовсе тихо; до Чиклина не доходило даже их дыхания. Ни одна тварь, видно, не жила в этом помещении — ни крыса, ни червь, ничто, — не раздавалось никакого шума. Только раз был непонятный гул — упал ли то старый кирпич в соседнем забвенном убежище, или грунт перестал терпеть вечность и разваливался в мелочь уничтожения.

— Подойдите ко мне кто-нибудь!

Чиклин вслушался в воздух и пополз осторожно во мрак, стараясь не раздавить девочку на ходу. Двигаться Чиклину пришлось долго, потому что ему мешал какой-то материал, попадавшийся по пути. Ощупав голову девочки, Чиклин дошел затем рукой до лица матери и наклонился к ее устам, чтобы узнать — та ли это бывшая девушка, которая целовала его однажды в этой же усадьбе, или нет. Поцеловав, он узнал по сухому вкусу губ и ничтожному остатку нежности в их спекшихся трещинах, что она та самая.

— Зачем мне нужно? — понятно сказала женщина. — Я буду всегда теперь одна. — И, повернувшись, умерла вниз лицом.

— Надо лампу зажечь, — громко произнес Чиклин и, потрудившись в темноте, осветил помещение.

Девочка спала, положив голову на живот матери; она сжалась от прохладного подземного воздуха и согревалась в тесноте своих членов. Чиклин, желая отдыха ребенку, стал ждать его пробуждения; а чтобы девочка не тратила свое тепло на остывающую мать, он взял ее к себе на руки и так сохранял до утра, как последний жалкий остаток погибшей женщины.

В начале осени Вощев почувствовал долготу времени и сидел в жилище, окруженный темнотой усталых вечеров.

Другие люди тоже либо лежали, либо сидели — общая лампа освещала их лица, и все они молчали. Товарищ

Пашкин бдительно снабдил жилище землекопов радиуропором, чтобы во время отдыха каждый мог приобретать смысл классовой жизни из трубы.

— Товарищи, мы должны мобилизовать крапиву на фронт социалистического строительства! Крапива есть не что иное, как предмет нужды заграницы..

— Товарищи, мы должны, — ежеминутно произносила требование труба, — обрезать хвосты и гривы у лошадей! Каждые восемьдесят тысяч лошадей дадут нам тридцать тракторов!..

Сафронов слушал и торжествовал, жалея лишь, что он не может говорить обратно в трубу, дабы там слышно было об его чувстве активности, готовности на стрижку лошадей и о счастье. Жачеву же и наравне с ним Воцеву становилось беспричинно стыдно от долгих речей по радио; им ничего не казалось против говорящего и наставляющего, а только все более ощущался личный позор. Иногда Жачев не мог стерпеть своего угнетенного отчаяния души, и он кричал среди шума сознания, льющегося из рупора:

— Остановите этот звук! Дайте мне ответить на него!..

Сафронов сейчас же выступал вперед своей изящной походкой.

— Вам, товарищ Жачев, я полагаю, уже достаточно бросать свои выраженья и пора всецело подчиниться производству руководства.

— Оставь, Сафронов, в покое человека, — говорил Воцев, — нам и так скучно жить.

Но социалист Сафронов боялся забыть про обязанность радости и отвечал всем и навсегда верховным голосом могущества:

— У кого в штанах лежит билет партии, тому надо непрерывно заботиться, чтоб в теле был энтузиазм труда. Вызываю вас, товарищ Воцев, соревноваться на высшее счастье настроенья!

Труба радио все время работала, как вьюга, а затем еще раз провозгласила, что каждый трудящийся должен помочь скоплению снега на коллективных полях, и здесь радио смолкло; наверно, лопнула сила науки, дотоле равнодушно мчавшая по природе всем необходимые слова.

Сафронов, заметив пассивное молчание, стал действовать вместо радио:

— Поставим вопрос: откуда взялся русский народ? И ответим: из буржуазной мелочи! Он бы и еще откуда-нибудь родился, да больше места не было. А потому мы должны бросить каждого в рассол социализма, чтобы с него слезла шкура капитализма и сердце обратило внимание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы и произошел бы энтузиазм!..

Не имея исхода для силы своего ума, Сафронов пускал ее в слова и долго их говорил. Опершись головами на руки, иные его слушали, чтоб наполнять этими звуками пустую тоску в голове, иные же однообразно гонялись, не слыша слов и живя в своей личной тишине. Прушевский сидел на самом пороге барака и смотрел в поздний вечер мира. Он видел темные деревья и слышал иногда дальнюю музыку, волнующую воздух. Прушевский ничему не возражал своим чувством. Ему казалась жизнь хорошей, когда счастье недостижимо и о нем лишь шелестят деревья и поет духовая музыка в профсоюзном саду.

Вскоре вся артель, смирившись общим утомлением, уснула, как жила: в дневных рубашках и верхних штанах, чтобы не трудиться над расстегиванием пуговиц, а хранить силы для производства.

Один Сафронов остался без сна. Он глядел на лежащих людей и с горестью высказывался:

— Эх ты, масса, масса. Трудно организовать из тебя скелет коммунизма! И что тебе надо? Стерве такой? Ты весь авангард, гадина, замучила!

И, четко сознавая бедную отсталость масс, Сафронов прильнул к какому-то уставшему и забылся в глуши сна.

А утром он, не вставая с ложа, приветствовал девочку, пришедшую с Чиклиным, как элемент будущего и затем снова задремал.

Девочка осторожно села на скамью, разглядела среди стенных лозунгов карту СССР и спросила у Чиклина про черты меридианов:

— Дядя, что это такое — загородки от буржуев?

— Загородки, дочка, чтоб они к нам не перелезали, — объяснил Чиклин, желая дать ей революционный ум.

— А моя мама через загородку не перелезала, а все равно умерла!

— Ну так что ж, — сказал Чиклин. — Буржуйки все теперь умирают.

— Пускай умирают, — произнесла девочка. — Ведь все равно я ее помню и во сне буду видеть. Только живота ее нету, мне спать не на чем головой.

— Ничего, ты будешь спать на моем животе, — обещал Чиклин.

— А что лучше — ледокол «Красин» или Кремль?

— Я этого, маленькая, не знаю: я же — ничто! — сказал Чиклин и подумал о своей голове, которая одна во всем теле не могла чувствовать; а если бы могла, то он весь свет объяснил бы ребенку, чтоб он умел безопасно жить.

Девочка обошла новое место своей жизни и пересчитала все предметы и всех людей, желая сразу же распределить, кого она любит и кого не любит, с кем водится и с кем нет; после этого дела она уже привыкла к деревянному сараю и захотела есть.

— Кушать дайте! Эй, Юлия, угроблю!

Чиклин поднес ей кашу и накрыл детское брюшко чистым полотенцем.

— Что ж кашу холодную даешь, эх ты, Юлия!

— Какая я тебе Юлия?

— А когда мою маму Юлией звали, когда она еще глазами смотрела и дышала все время, то женилась на Мартыныче, потому что он был пролетарский, а Мартыныч как приходит, так и говорит маме: эй, Юлия, угроблю! А мама молчит и все равно с ним водится.

Прушевский слушал и наблюдал девочку; он давно уже не спал, встревоженный явившимся ребенком и вместе с тем опечаленный, что этому существу, наполненному, точно морозом, свежей жизнью, надлежит мучиться сложнее и дольше его.

— Я нашел твою девушку, — сказал Чиклин Прушевскому. — Пойдем посмотреть ее, она еще цела.

Прушевский встал и пошел, потому что ему было все равно — лежать или двигаться вперед.

На дворе кафельного завода старик доделал свои лапти, но боялся идти по свету в такой обуви.

— Вы не знаете, товарищи, что, заарестуют меня в лаптях или не тронут? — спросил старик. — Нынче ведь каждый последний и тот в кожаных голенищах ходит; бабы сроду в юбках наголо ходили, а теперь тоже у каждой под юбкой цветочные штаны надеты, ишь ты, как ведь стало интересно!

— Кому ты нужен! — сказал Чиклин. — Шагай себе молча.

— Это я и слова не скажу! Я вот чего боюсь: ага, скажут, ты в лаптях идешь — значит, бедняк! А ежели бедняк, то почему один живешь и с другими бедными не скопляешься!.. Я вот чего боюсь! А то бы я давно ушел.

— Подумай, старик, — посоветовал Чиклин.

— Да думать-то уж нечем.

— Ты жил долго: можешь одной памятью работать.

— А я все уж позабыл, хоть сызнава живи.

Спустившись в убежище женщины, Чиклин наклонился и поцеловал ее вновь.

— Она же мертвая! — удивился Прушевский.

— Ну и что ж! — сказал Чиклин. — Каждый человек мертвым бывает, если его замучивают. Она ведь тебе нужна не для житья, а для одного воспоминанья.

Став на колени, Прушевский коснулся мертвых, огорченных губ женщины и, почувствовав их, не узнал ни радости, ни нежности.

— Это не та, которую я видел в молодости, — произнес он. И, поднявшись над погибшей, сказал еще: — А может быть, и та, после близких ощущений я всегда не узнавал своих любимых, а вдалеке томился о них.

Чиклин молчал. Он и в чужом и в мертвом человеке чувствовал кое-что остаточное-теплое и родственное, когда ему приходилось целовать его или еще глубже как-либо приникать к нему.

Прушевский не мог отойти от покойной. Легкая и горячая, она некогда прошла мимо него — он захотел тогда себе смерти, увидя ее уходящей с опущенными глазами, ее колеблющееся грустное тело. И затем слушал ветер в унылом мире и тосковал о ней. Побоявшись однажды настигнуть эту женщину, это счастье в его юности, он, может быть, оставил ее беззащитной на всю жизнь, и она, уморившись мучиться, спряталась сюда, чтобы погибнуть от голода и печали. Она лежала сейчас навзничь — так ее повернул Чиклин для своего поцелуя, — веревочка через темя и подбородок держала ее уста сомкнутыми, длинные, обнаженные ноги были покрыты густым пухом, почти шерстью, выросшей от болезней и бесприютности, — какая-то древняя, ожившая сила превращала мертвую еще при ее жизни в обрастающее шкурой животное.

— Ну, достаточно, — сказал Чиклин. — Пусть хранят ее здесь разные мертвые предметы. Мертвых ведь тоже много, как и живых, им не скучно меж собой.

И Чиклин погладил стенные кирпичи, поднял неизвестную устарелую вещь, положил ее рядом со скончавшейся,

и оба человека вышли. Женщина осталась лежать в том вечном возрасте, в котором умерла.

Пройдя двор, Чиклин возвратился назад и завалил дверь, ведущую к мертвой, битым кирпичом, старыми каменными глыбами и прочим тяжелым веществом. Прушевский не помогал ему и спросил потом:

— Зачем ты стараешься?

— Как зачем? — удивился Чиклин. — Мертвые тоже люди.

— Но ей ничего не нужно.

— Ей нет, но она мне нужна. Пусть сэкономится что-нибудь от человека — мне так и чувствуется, когда я вижу горе мертвых или их кости, зачем мне жить!

Старик, делавший лапти, ушел со двора — одни опорки как память о скрывшемся навсегда валялись на его месте.

Солнце уже высоко взошло, и давно настал момент труда. Поэтому Чиклин и Прушевский спешно пошли на котлован по земляным, немощеным улицам, осыпанным листьями, под которыми были укрыты и согревались семена будущего лета.

Вечером того же дня землекопы не пустили в действие громкоговорящий рупор, а, наевшись, сели глядеть на девочку, срывая тем профсоюзную культработу по радио. Жачев еще с утра решил, что как только эта девочка и ей подобные дети мало-мало возмужают, то он кончит всех больших жителей своей местности; он один знал, что в СССР немало населено сплошных врагов социализма, эгоистов и ехидн будущего света, и втайне утешался тем, что убьет когда-нибудь вскоре всю их массу, оставив в живых лишь пролетарское младенчество и чистое сиротство.

— Ты кто ж такая будешь, девочка? — спросил Сафронов. — Чем у тебя папаша-мамаша занимались?

— Я никто, — сказала девочка.

— Отчего же ты никто? Какой-нибудь принцип женского рода угодил тебе, что ты родилась при советской власти?

— А я сама не хотела рождаться, я боялась — мать буржуйкой будет.

— Так как же ты организовалась?

Девочка в стеснении и в боязни опустила голову и начала щипать свою рубашку; она ведь знала, что присутствует в пролетариате, и сторожила сама себя, как давно и долго говорила ей мать.

— А я знаю, кто главный.

— Кто же? — прислушался Сафронов.

— Главный — Ленин, а второй — Буденный. Когда их не было, а жили одни буржуи, то я и не рожалась, потому что не хотела. А как стал Ленин, так и я стала!

— Ну, девка, — смог проговорить Сафронов. — Сознательная женщина — твоя мать! И глубока наша советская власть, раз даже дети, не помня матери, уже чуют товарища Ленина!

Безвестный мужик с желтыми глазами скулил в углу барака про одно и то же свое горе, только не говорил, отчего оно, а старался побольше всем угодить. Его тоскливому уму представлялась деревня во ржи, и над нею носился ветер и тихо крутил деревянную мельницу, размалывающую насущный, мирный хлеб. Он жил так в недавнее время, чувствуя сытость в желудке и семейное счастье в душе; и сколько годов он ни смотрел из деревни вдаль и в будущее, он видел на конце равнины лишь слияние неба с землею, а над собою имел достаточный свет солнца и звезд.

Чтобы не думать дальше, мужик ложился вниз и как можно скорее плакал льющимися неотложными слезами.

— Будет тебе сокрушаться-то, мешанин! — останавливал его Сафронов. — Ведь здесь ребенок теперь живет, иль ты не знаешь, что скорбь у нас должна быть аннулирована!

— Я, товарищ Сафронов, уж обсох, — заявил издали мужик. — Это я по отсталости растрогался.

Девочка вышла с места и оперлась головой о деревянную стену. Ей стало скучно по матери, ей страшна была новая одинокая ночь, и еще она думала, как грустно и долго лежать матери в ожидании, когда будет старенькой и умрет ее девочка.

— Где же живот-то? — спросила она, обернувшись на глядящих на нее. — На чем же я спать буду?

Чиклин сейчас же лег и приготовился.

— А кушать! — сказала девочка. — Сидят все, как Юлии какие, а мне есть нечего!

Жачев подкатился к ней на тележке и предложил фруктовой пастилы, реквизированной еще с утра у заведующего продмагом.

— Ешь, бедная! Из тебя еще неизвестно что будет, а из нас — уже известно.

Девочка съела и легла лицом на живот Чиклина. Она побледнела от усталости и, позабывшись, обхватила Чиклина рукой, как привычную мать.

Сафронов, Вошев и все другие землекопы долго наблюдали сон этого малого существа, которое будет господствовать над их могилами и жить на успокоенной земле, набитой их костями.

— Товарищи! — начал определять Сафронов всеобщее чувство. — Перед нами лежит без сознания фактический житель социализма. Из радио и прочего культурного материала мы слышим лишь линию, а щупать нечего. А тут покоится вещество создания и целевая установка партии — маленький человек, предназначенный состоять всемирным элементом! Ради того нам необходимо как можно внезапней закончить котлован, чтобы скорей произошел дом и детский персонал огражден был от ветра и простуды каменной стеной!

Вошев попробовал девочку за руку и рассмотрел ее всю, как в детстве он глядел на ангела на церковной стене;

это слабое тело, покинутое без родства среди людей, почувствует когда-нибудь согревающий поток смысла жизни и ум ее увидит время, подобное первому исконному дню.

И здесь решено было начать завтра рыть землю на час раньше, дабы приблизить срок бутовой кладки и остального зодчества.

— Как урод я только приветствую ваше мнение, а помочь не могу! — сказал Жачев. — Вам ведь так и так все равно погибать — у вас же в сердце не лежит ничто, лучше любите что-нибудь маленькое живое и отравливайте себя трудом. Существойте пока что!

Ввиду прохладного времени, Жачев заставил мужика снять армяк и одел им ребенка на ночь; мужик же всю свою жизнь копил капитализм — ему, значит, было время греться.

Дни своего отдыха Прушевский проводил в наблюдениях либо писал письма сестре. Момент, когда он наклеивал марку и опускал письмо в ящик, всегда давал ему спокойное счастье, точно он чувствовал чью-то нужду по себе, влекущую его оставаться в жизни и тщательно действовать для общей пользы.

Сестра ему ничего не писала, она была многодетная и изможденная и жила как в беспамятстве. Лишь раз в год, на Пасху, она присылала брату открытку, где сообщала: «Христос воскрес, дорогой брат! Мы живем по-старому, я стряпаю, дети растут, мужу прибавили на один разряд, теперь он приносит 48 рублей. Приезжай к нам гостить. Твоя сестра Аня».

Прушевский подолгу носил эту открытку в кармане и, перечитывая ее, иногда плакал.

В свои прогулки он уходил далеко, в одиночестве. Однажды он остановился на холме, в стороне от города и дороги. День был мутный, неопределенный, будто время не продолжалось дальше — в такие дни дремлют растения и животные, а люди поминают родителей. Пру-

шевский тихо глядел на всю туманную старость природы и видел на конце ее белые спокойные здания, светящиеся больше, чем было света в воздухе. Он не знал имени тому законченному строительству и назначению его, хотя можно было понять, что те дальние здания устроены не только для пользы, но и для радости. Прушевский с удивлением привыкшего к печали человека наблюдал точную нежность и охлажденную, сомкнутую силу отдаленных монументов. Он еще не видел такой веры и свободы в сложенных камнях и не знал самосветящегося закона для серого цвета своей родины. Как остров, стоял среди остального новостроящегося мира этот белый сюжет сооружений и успокоенно светился. Но не все было бело в тех зданиях — в иных местах они имели синий, желтый и зеленый цвета, что придавало им нарочную красоту детского изображения. «Когда же это выстроено?» — с огорчением сказал Прушевский. Ему уютней было чувствовать скорбь на земной потухшей звезде; чужое и дальнейшее счастье возбуждало в нем стыд и тревогу — он бы хотел, не сознавая, чтобы вечно строящийся и недостроенный мир был похож на его разрушенную жизнь.

Он еще раз пристально посмотрел на тот новый город, не желая ни забыть его, ни ошибиться, но здания стояли по-прежнему ясными, точно вокруг них была не муть родного воздуха, а прохладная прозрачность.

Возвращаясь назад, Прушевский заметил много женщин на городских улицах. Женщины ходили медленно, не смотря на свою молодость, они, наверно, гуляли и ожидали звездного вечера.

На рассвете в контору пришел Чиклин с неизвестным человеком, одетым в одни штаны.

— Вот к тебе, Прушевский, — сказал Чиклин. — Он просит отдать гробы ихней деревне.

— Какие гробы?

Громадный, опухший от ветра и горя голый человек сказал не сразу свое слово, он сначала опустил голову и напряженно сообразил. Должно быть, он постоянно забывал помнить про самого себя и про свои заботы: то ли он утомился или же умирал по мелким частям на ходу жизни.

— Гробы! — сообщил он горячим, шерстяным голосом. — Гробы тесовые мы в пещеру сложили впрок, а вы копаете всю балку. Отдай гробы!

Чиклин сказал, что вчера вечером близ северного пикета на самом деле было открыто сто пустых гробов; два из них он забрал для девочки — в одном гробу сделал ей постель на будущее время, когда она станет спать без его живота, а другой подарил ей для игрушек и всякого детского хозяйства: пусть она тоже имеет свой красный уголок.

— Отдайте мужику остальные гробы, — ответил Прушевский.

— Все отдавай, — сказал человек. — Нам не хватает мертвого инвентаря, народ свое имущество ждет. Мы те гробы по самообложению заготовили, не отымай нажитого!

— Нет, — произнес Чиклин. — Два гроба ты оставь нашему ребенку, они для вас все равно маломерные.

Неизвестный человек постоял, что-то подумал и не согласился:

— Нельзя! Куда же мы своих ребят класть будем! Мы по росту готовили гробы: на них метины есть — кому куда влезать. У нас каждый и живет оттого, что гроб свой имеет: он нам теперь цельное хозяйство! Мы те гробы облеживали, как в пещеру зарыть.

Давно живущий на котловане мужик с желтыми глазами вошел, поспешая в контору.

— Елисей, — сказал он полуголому. — Я их тесемками в один обоз связал, пойдем волоком тащить, пока сушь стоит!

— Не устерег двух гробов, — высказался Елисей. — Во что теперь сам ляжешь?

— А я, Елисей Саввич, под кленом дубравным у себя на дворе, под могучее дерево лягу. Я уж там и ямку под корнем себе уготовил, умру — пойдет моя кровь соком по стволу, высоко взойдет! Иль, скажешь, моя кровь жидка стала, дереву не вкусна?

Полуголый стоял без всякого впечатления и ничего не ответил. Не замечая подорожных камней и остужающего ветра зари, он пошел с мужиком брать гробы. За ними отправился Чиклин, наблюдая спину Елисея, покрытую целой почвой нечистот и уже обрастающую защитной шерстью. Елисей изредка останавливался на месте и оглядывал пространство сонными, опустевшими глазами, будто вспоминая забытое или ища укромной доли для угрюмого покоя. Но родина ему была безвестной, и он опускал вниз затихшие глаза.

Гробы стояли длинной чередой на сухой высоте над краем котлована. Мужик, прибежавший прежде в барак, был рад, что гробы нашлись и что Елисей явился; он уже управился пробурить в гробовых изголовьях и подножьях отверстия и связать гробы в общую супрягу. Взявши конец веревки с переднего гроба на плечо, Елисей уперся и поволок, как бурлак, эти тесовые предметы по сухому морю житейскому. Чиклин и вся артель стояли без препятствий Елисею и смотрели на след, который межевали пустые гробы по земле.

— Дядя, это буржуи были? — заинтересовалась девочка, державшаяся за Чиклина.

— Нет, дочка, — ответил Чиклин. — Они живут в соломённых избушках, сеют хлеб и едят с нами пополам.

Девочка поглядела наверх, на все старые лица людей.

— А зачем им тогда гробы? Умирать должны одни буржуи, а бедные нет!

Землекопы промолчали, еще не сознавая данных, что бы говорить.

— И один был голый! — произнесла девочка. — Одежду всегда отбирают, когда людей не жалко, чтоб она осталась. Моя мама тоже голая лежит.

— Ты права, дочка, на все сто процентов, — решил Сафронов. — Два кулака от нас сейчас удалились.

— Убей их пойдя! — сказала девочка.

— Не разрешается, дочка: две личности это не класс...

— Это один да еще один, — сочла девочка.

— А в целости их было мало, — пожалел Сафронов. — Мы же, согласно пленума, обязаны их ликвидировать не меньше как класс, чтобы весь пролетариат и батрачье сословие осиротели от врагов!

— А с кем останетесь?

— С задачами, с твердой линией дальнейших мероприятий, понимаешь что?

— Да, — ответила девочка. — Это значит плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало.

— Ты вполне классовое поколение, — обрадовался Сафронов, — ты с четкостью сознаешь все отношения, хотя сама еще малолеток. Это монархизму люди без разбору требовались для войны, а нам только один класс дорог, да мы и класс свой будем скоро чистить от несознательного элемента.

— От сволочи, — с легкостью догадалась девочка. — Тогда будут только самые-самые главные люди! Моя мама себя тоже сволочью называла, что жила, а теперь умерла и хорошая стала, правда ведь?

— Правда, — сказал Чиклин.

Девочка, вспомнив, что мать ее находится одна в темноте, молча отошла, ни с кем не считаясь, и села играть в песок. Но она не играла, а только трогала кое-что равнодушной рукой и думала.

Землекопы приблизились к ней и, пригнувшись, спросили:

— Ты что?

— Так, — сказала девочка, не обращая внимания. — Мне у вас стало скучно, вы меня не любите, как ночью заснете, так я вас изобью.

Мастеровые с гордостью поглядели друг на друга, и каждому из них захотелось взять ребенка на руки и помять его в своих объятиях, чтобы почувствовать то теплое место, откуда исходит этот разум и прелесть малой жизни.

Один Вощев стоял слабым и безрадостным, механически наблюдая даль; он по-прежнему не знал, есть ли что особенное в общем существовании, ему никто не мог прочесть на память всемирного устава, события же на поверхности земли его не прельщали. Отдалившись несколько, Вощев тихим шагом скрылся в поле и там прилег полежать, не видимый никем, довольный, что он больше не участник безумных обстоятельств.

Позже он нашел след гробов, увлеченных двумя мужиками за горизонт в свой край согбленных плетней, заросших лопухами. Быть может, там была тишина дворовых теплых мест или стояло на ветру дорог бедняцкое колхозное сиротство с кучей мертвого инвентаря посреди. Вощев пошел туда походкой механически выбывшего человека, не сознавая, что лишь слабость культурной работы на котловане заставляет его не жалеть о строительстве будущего дома. Несмотря на достаточно яркое солнце, было как-то нерадостно на душе, тем более что в поле простирался мутный чад дыханья и запаха трав. Он осмотрелся вокруг — всюду над пространством стоял пар живого дыханья, создавая сонную, душную незримость; устало длилось терпенье на свете, точно все живущее находилось где-то посредине времени и своего движения: начало его всеми забыто и конец неизвестен, осталось лишь направление. И Вощев ушел в одну открытую дорогу.

Козлов прибыл на котлован пассажиром в автомобиле, которым управлял сам Пашкин. Козлов был одет в светло-серую тройку, имел пополневшее от какой-то постоянной

радости лицо и стал сильно любить пролетарскую массу. Всякий свой ответ трудящемуся человеку он начинал некими самодовлеющими словами: «Ну хорошо, ну прекрасно» — и продолжал. Про себя же любил произносить: «Где вы теперь, ничтожная фашистка!» И многие другие краткие лозунги-песни.

Сегодня утром Козлов ликвидировал как чувство свою любовь к одной средней даме. Она тщетно писала ему письма о своем обожании, он же, преодолевая общественную нагрузку, молчал, заранее отказываясь от конфискации ее ласк, потому что искал женщину более благородного, активного типа. Прочитав же в газете о загруженности почты и нечеткости ее работы, он решил укрепить этот сектор социалистического строительства путем прекращения дамских писем к себе. И он написал даме последнюю итоговую открытку, складывая с себя ответственность любви:

Где раньше стол был яств,
Теперь там гроб стоит!

Козлов

Этот стих он только что прочитал и спешил его не забыть. Каждый день, просыпаясь, он вообще читал в постели книги, и, запомнив формулировки, лозунги, стихи, заветы, всякие слова мудрости, тезисы различных актов, резолюций, строфы песен и прочее, он шел в обход органов и организаций, где его знали и уважали как активную общественную силу, — и там Козлов пугал и так уже напуганных служащих своей научностью, кругозором и подкованностью. Дополнительно к пенсии по первой категории он обеспечил себе и натурное продовольствие.

Зайдя однажды в кооператив, он подозвал к себе, не трогаясь с места, заведующего и сказал ему:

— Ну хорошо, ну прекрасно, но у вас кооператив, как говорится, рочдэлльского вида, а не советского! Значит, вы не столб со столбовой дороги в социализм?!

— Я вас не сознаю, гражданин, — скромно ответил заведующий.

— Так, значит, опять: просил он, пассивный, не счастья у неба, а хлеба насущного, черного хлеба! Ну хорошо, ну прекрасно! — сказал Козлов и вышел в полном оскорблении, а через одну декаду стал председателем лавкома этого кооператива. Он так и не узнал, что эту должность получил по ходатайству самого заведующего, который учитывал не только ярость масс, но и качество яростных.

Спустившись с автомобиля, Козлов с видом ума прошел на поприще строительства и стал на краю его, чтобы иметь общий взгляд на весь темп труда. Что касается ближних землекопов, то он сказал им:

— Не будьте оппортунистами на практике!

Во время обеденного перерыва товарищ Пашкин сообщил мастеровым, что бедняцкий слой деревни печально заскучал по колхозу и нужно туда бросить что-нибудь особенное из рабочего класса, дабы начать классовую борьбу против деревенских пней капитализма.

— Давно пора кончать зажиточных паразитов! — высказался Сафронов. — Мы уже не чувствуем жара от костра классовой борьбы, а огонь должен быть: где ж тогда греться активному персоналу!

И после того артель назначила Сафронова и Козлова идти в ближнюю деревню, чтобы бедняк не остался при социализме круглой сиротой или частным мошенником в своем убежище.

Жачев подъехал к Пашкину с девочкой на тележке и сказал ему:

— Заметь этот социализм в босом теле. Наклонись, стервец, к ее костям, откуда ты сало съел!

— Факт! — произнесла девочка.

Здесь и Сафронов определил свое мнение.

— Зафиксируй, товарищ Пашкин, Настю — это ж наш будущий радостный предмет!

Пашкин вынул записную книжку и поставил в ней точку; уже много точек было изображено в книжке Пашкина, и каждая точка знаменовала какое-либо внимание к массам.

В тот вечер Настя постелила Сафронову отдельную постель и села с ним посидеть. Сафронов сам попросил девочку поскучать о нем, потому что она одна здесь сердечная женщина. И Настя тихо находилась при нем весь вечер, стараясь думать, как уйдет Сафронов туда, где бедные люди тоскуют в избушках, и как он станет вшивым среди чужих.

Позже Настя легла в постель Сафронова, согрела ее и ушла спать на живот Чиклина. Она давным-давно привыкла согревать постель своей матери, перед тем как туда ложился спать неродной отец.

Маточное место для дома будущей жизни было готово; теперь предназначалось класть в котловане бут. Но Пашкин постоянно думал светлые думы, и он доложил главному в городе, что масштаб дома узок, ибо социалистические женщины будут исполнены свежести и полнокровия, и вся поверхность земли покроется семяющим детством; неужели же детям придется жить снаружи, среди неорганизованной погоды?

— Нет, — ответил главный, сталкивая нечаянным движением сытный бутерброд со стола, — разroyте маточный котлован вчетверо больше.

Пашкин согнулся и возвратил бутерброд снизу на стол.

— Не стоило нагибаться, — сказал главный. — На будущий год мы запроектировали сельхозпродукции по округу на полмиллиарда.

Тогда Пашкин положил бутерброд обратно в корзину для бумаг, боясь, что его сочтут за человека, живущего темпами эпохи режима экономии.

Прушевский ожидал Пашкина вблизи здания для немедленной передачи распоряжения на работы. Пашкин же, пока шел по вестибюлю, обдумал увеличить котлован не вчетверо, а в шесть раз, дабы угодить наверняка и забежать вперед главной линии, чтобы впоследствии радостно встретить ее на чистом месте, — и тогда линия увидит его, и он запечатлется в ней вечной точкой.

— В шесть раз больше, — указал он Прушевскому. — Я говорил, что темп тих!

Прушевский обрадовался и улыбнулся. Пашкин, заметив счастье инженера, тоже стал доволен, потому что почувствовал настроение инженерно-технической секции своего союза.

Прушевский пошел к Чиклину, чтобы наметить расширение котлована. Еще не доходя, он увидел собрание землекопов и крестьянскую подводу среди молчавших людей. Чиклин вынес из барака пустой гроб и положил его на телегу; затем он принес еще и второй гроб, а Настя стремилась за ним вслед, обрывая с гроба свои картинки. Чтоб девочка не сердилась, Чиклин взял ее под мышку и, прижав к себе, нес другой рукой гроб.

— Они все равно умерли, зачем им гробы! — негодовала Настя. — Мне некуда будет вещи складать!

— Так уж надо, — отвечал Чиклин. — Все мертвые — это люди особенные.

— Важные какие! — удивлялась Настя. — Отчего ж тогда все живут! Лучше б умерли и стали важными!

— Живут для того, чтоб буржуев не было, — сказал Чиклин и положил последний гроб на телегу. На телеге сидели двое — Вошев и ушедший когда-то с Елисеем подкулацкий мужик.

— Кому отправляете гробы? — спросил Прушевский.

— Это Сафронов и Козлов умерли в избушке, а им теперь мои гробы отдали: ну что ты будешь делать?! —

с подробностью сообщила Настя. И она прислонилась к телеге, озабоченная упущением.

Вощев, прибывший на подводе из неизвестных мест, тронул лошадь, чтобы ехать обратно в то пространство, где он был. Оставив блюсти девочку Жачеву, Чиклин пошел шагом за удалившейся телегой.

До самой глубины лунной ночи он шел вдаль. Изредка, в боковой овражной стороне, горели укромные огни неизвестных жилищ, и там же заунывно брехали собаки — может быть, они скучали, а может быть, замечали въезжавших командированных людей и пугались их. Впереди Чиклина все время ехала подвода с гробами, и он не отрывался от нее.

Вощев, опершись о гробы спиной, глядел с телеги вверх — на звездное собрание и в мертвую массовую муть Млечного Пути. Он ожидал, когда же там будет вынесена резолюция о прекращении вечности времени, об искуплении томительности жизни. Не надеясь, он задремал и проснулся от остановки.

Чиклин дошел до подводы через несколько минут и стал смотреть вокруг. Вблизи была старая деревня; всеобщая ветхость бедности покрывала ее — и старческие, терпеливые плетни, и придорожные, склонившиеся в тишине деревья имели одинаковый вид грусти. Во всех избах деревни был свет, но снаружи их никто не находил. Чиклин подступился к первой избе и зажег спичку, чтобы прочитать белую бумажку на двери. В той бумажке было указано, что этот обобществленный двор № 7 колхоза имени Генеральной Линии и что здесь живет активист общественных работ по выполнению государственных постановлений и любых кампаний, проводимых на селе.

— Пусти! — постучал Чиклин в дверь.

Активист вышел и впустил его. Затем он составил приемочный счет на гробы и велел Вощеву идти в сельсовет

и стоять всю ночь в почетном карауле у двух тел павших товарищей.

— Я пойду сам, — определил Чиклин.

— Ступай, — ответил активист. — Только скажи мне свои данные, я тебя в мобилизованный кадр зачислю.

Активист наклонился к своим бумагам, прощупывая тщательными глазами все точные тезисы и задания; он с жадностью собственности, без памяти о домашнем счастье строил необходимое будущее, готовя для себя в нем вечность, и потому он сейчас запустел, опух от забот и оброс редкими волосами. Лампа горела перед его подозрительным взглядом, умственно и фактически наблюдающим кулацкую сволочь.

Всю ночь сидел активист при непогашенной лампе, слушая, не скачет ли по темной дороге верховой из района, чтобы спустить директиву на село. Каждую новую директиву он читал с любопытством будущего наслаждения, точно подглядывал в страстные тайны взрослых, центральных людей. Редко проходила ночь, чтобы не появлялась директива, и до утра изучал ее активист, накапливая к рассвету энтузиазм несокрушимого действия. И только изредка он словно замирал на мгновение от тоски жизни — тогда он жалобно глядел на любого человека, находящегося перед его взором; это он чувствовал воспоминание, что он — головотяп и упущенец, — так его называли иногда в бумагах из района. «Не пойти ли мне в массу, не забыть ли в общей, руководимой жизни?» — решал активист про себя в те минуты, но быстро опоминался, потому что не хотел быть членом общего сиротства и боялся долгого томления по социализму, пока каждый пастух не очутится среди радости, ибо уже сейчас можно быть подручным авангарда и немедленно иметь всю пользу будущего времени. Особенно долго активист рассматривал подписи на бумагах: эти буквы выводила горячая рука округа, а рука есть часть целого тела, живущего в довольстве славы на

глазах преданных, убежденных масс. Даже слезы показывались на глазах активиста, когда он любовался четкостью подписей и изображениями земных шаров на штемпелях; ведь весь земной шар, вся его мякоть скоро достанется в четкие, железные руки — неужели он останется без влияния на всемирное тело земли? И со скупостью обеспеченного счастья активист гладил свою истощенную нагрукками грудь.

— Чего стоишь без движения? — сказал он Чиклину. — Ступай сторожить политические трупы от зажиточного бесчестья: видишь, как падает наш героический брат!

Через тьму колхозной ночи Чиклин дошел до пустынной залы сельсовета. Там покоились его два товарища. Самая большая лампа, назначенная для освещения заседаний, горела над мертвецами. Они лежали рядом на столе президиума, покрытые знаменем до подбородков, чтобы не были заметны их гибельные увечья и живые не побоялись бы так же умереть.

Чиклин встал у подножия скончавшихся и спокойно засмотрелся в их молчаливые лица. Уж ничего не скажет теперь Сафронов из своего ума, и Козлов не поболит душой за все организационное строительство и не будет получать полагающуюся ему пенсию.

Текущее время тихо шло в полночном мраке колхоза; ничто не нарушало обобщественного имущества и тишины коллективного сознания. Чиклин закурил, приблизился к лицам мертвых и потрогал их рукой.

— Что, Козлов, скучно тебе?

Козлов продолжал лежать умолкшим образом, будучи убитым; Сафронов тоже был спокоен, как довольный человек, и рыжие усы его, нависшие над ослабевшим полуоткрытым ртом, росли даже из губ, потому что его не целовали при жизни. Вокруг глаз Козлова и Сафронова виднелась засохшая соль бывших слез, так что Чиклину

пришлось стереть ее и подумать — отчего же это плакали в конце жизни Сафронов и Козлов?

— Ты что ж, Сафронов, совсем улегся иль думаешь встать все-таки?

Сафронов не мог ответить, потому что сердце его лежало в разрушенной груди и не имело чувства.

Чиклин прислушался к начавшемуся дождю на дворе, к его долгому скорбящему звуку, поющему в листве, в плетнях и в мирной кровле деревни; безучастно, как в пустоте, проливалась свежая влага, и только тоска хотя бы одного человека, слушающего дождь, могла бы вознаградить это истощение природы. Изредка вскрикивали куры в огороженных захолустьях, но их Чиклин уже не слушал и лег спать под общее знамя между Козловым и Сафроновым, потому что мертвые — это тоже люди. Сельсоветская лампа безрасчетно горела над ними до утра, когда в помещение явился Елисей и тоже не потушил огня; ему было все равно, что свет, что тьма. Он без пользы постоял некоторое время и вышел так же, как пришел.

Прислонившись грудью к воткнутой для флага жердине, Елисей устался в мутную сырость порожнего места. На том месте собралась грачи для отлета в теплую даль, хотя время их расставания со здешней землей еще не наступило. Еще ранее отлета грачей Елисей видел исчезновение ласточек, и тогда он хотел было стать легким, малосознательным телом птицы, но теперь он уже не думал, чтобы обратиться в грача, потому что думать не мог. Он жил и глядел глазами лишь оттого, что имел документы середняка, и его сердце билось по закону.

Из сельсовета раздались какие-то звуки, и Елисей подошел к окну и прислонился к стеклу; он постоянно прислушивался ко всяким звукам, исходящим из масс или природы, потому что ему никто не говорил слов и не давал понятия, так что приходилось чувствовать даже отдаленное звучание.

Елисей увидел Чиклина, сидящего между двумя лежащими навзничь. Чиклин курил и равнодушно утешал умерших своими словами.

— Ты кончился, Сафронов! Ну и что ж? Все равно я ведь остался, буду теперь как ты; стану умнеть, начну выступать с точкой зрения, увижу всю твою тенденцию, ты вполне можешь не существовать...

Елисей не мог понимать и слушал одни звуки сквозь чистое стекло.

— А ты, Козлов, тоже не заботься жить. Я сам себя забуду, но тебя начну иметь постоянно. Всю твою погибшую жизнь, все твои задачи спрячу в себя и не брошу их никуда, так что ты считай себя живым. Буду день и ночь активным, всю организационность на заметку возьму, на пенсию стану, лежи спокойно, товарищ Козлов!

Елисей надышал на стекло туман и видел Чиклина слабо, но все равно смотрел, раз глядеть ему было некуда. Чиклин помолчал и, чувствуя, что Сафронов и Козлов теперь рады, сказал им:

— Пускай весь класс умрет — да я и один за него останусь и сделаю всю его задачу на свете! Все равно жить для самого себя я не знаю как!.. Чья это там морда уставилась на нас? Войди сюда, чужой человек!

Елисей сейчас же вошел в сельсовет и стал, не соображая, что штаны спустились с его живота, хотя вчера вполне еще держались. Елисей не имел аппетита к питанию и поэтому худел в каждые истекшие сутки.

— Это ты убил их? — спросил Чиклин.

Елисей поднял кверху штаны и уж больше не упустил их, ничего не отвечая, наставя на Чиклина свои бледные, пустые глаза.

— А кто же? Пойди приведи мне кого-нибудь, кто убивает нашу массу.

Мужик тронулся и пошел через порожнее сырое место, где находилось последнее сборище грачей, грачи ему дали

дорогу, и Елисей увидел того мужика, который был с желтыми глазами; он приставил гроб к плетню и писал на нем свою фамилию печатными буквами, доставая изобразительным пальцем какую-то гушу из бутылки.

— Ты что, Елисей? Аль узнал какое распоряжение?

— Так себе, — сказал Елисей.

— Тогда — ничего, — покойно произнес пишущий мужик. — А мертвых не обмывали еще в совете? Пугаюсь, как бы казенный инвалид не приехал на тележке, он меня рукой тронет, что я жив, а двое умерли.

Мужик пошел помыть мертвых, чтобы обнаружить тем свое участие и сочувствие: Елисей тоже побрел ему вслед, не зная, где ему лучше всего находиться.

Чиклин не возражал, пока мужик снимал с погибших одежду и носил их поочередно в голом состоянии окунать в пруд, а потом, вытерев насухо овчинной шерстью, снова одел и положил оба тела на стол.

— Ну, прекрасно, — сказал тогда Чиклин. — А кто ж их убил?

— Нам, товарищ Чиклин, неизвестно, мы сами живем нечаянно.

— Нечаянно! — произнес Чиклин и сделал мужику удар в лицо, чтоб он стал жить сознательно. Мужик было упал, но побоялся далеко уклоняться, дабы Чиклин не подумал про него чего-нибудь зажиточного, и еще ближе предстал перед ним, желая посильнее изувечиться, а затем исходатайствовать себе посредством мученья право жизни бедняка. Чиклин, видя перед собою такое существо, двинул ему механически в живот, и мужик опрокинулся, закрыв свои желтые глаза.

Елисей, стоявший тихо в стороне, сказал вскоре Чиклину, что мужик стих.

— А тебе жалко его? — спросил Чиклин.

— Нет, — ответил Елисей.

— Положь его в середку между моими товарищами.

Елисей поволок мужика к столу и, подняв его изо всех сил, свалил поперек прежних мертвых, а уж потом прировнил как следует, уложив его тесно близ боков Сафронова и Козлова. Когда Елисей отошел обратно, то мужик открыл свои желтые глаза, но уж не мог их закрыть и так остался глядеть.

— Баба-то есть у него? — спросил Чиклин Елисея.

— Один находился, — ответил Елисей.

— Зачем же он был?

— Не быть он боялся.

Вощев пришел в дверь и сказал Чиклину, чтоб он шел — его требует актив.

— На тебе рубль, — дал поскорее деньги Елисею Чиклин. — Ступай на котлован и погляди, жива ли там девочка Настя, и купи ей конфет. У меня сердце по ней заболело.

Активист сидел с тремя своими помощниками, похудевшими от непрерывного геройства и вполне бедными людьми, но лица их изображали одно и то же твердое чувство — усердную беззаветность. Активист дал знать Чиклину и Вощеву, что директивой товарища Пашкина они должны приурочить все свои скрытые силы на угождение колхозному разворачиванию.

— А истина полагается пролетариату? — спросил Вощев.

— Пролетариату полагается движение, — произнес активист, — а что навстречу попадет, то все его: будь там истина, будь кулацкая награбленная кофта — все пойдут в организованный котел, ты ничего не узнаешь.

Близ мертвых в сельсовете активист опечалился вначале, но затем, вспомнив новостроящееся будущее, бодро улыбнулся и приказал окружающим мобилизовать колхоз на похоронное шествие, чтобы все почувствовали торжественность смерти во время развивающегося светлого момента обобществления имущества.

Левая рука Козлова свесилась вниз, и весь погибший корпус его накренился со стола, готовый бессознательно упасть. Чиклин поправил Козлова и заметил, что мертвым стало совершенно тесно лежать: их уже было четверо вместо троих. Четвертого Чиклин не помнил и обратился к активисту за освещением несчастья, хотя четвертый был не пролетарий, а какой-то скучный мужик, покоившийся на боку с замолкшим дыханьем. Активист представил Чиклину, что этот дворовый элемент есть смертельный вредитель Сафронова и Козлова, но теперь он заметил свою скорбь от организованного движения на него и сам пришел сюда, лег на стол между покойными и лично умер.

— Все равно бы я его обнаружил через полчаса, — сказал активист. — У нас стихии сейчас нет ни капли, деться никому некуда! А кто-то еще один лишний лежит!

— Того я закончил, — объяснил Чиклин. — Думал, что стервец явился и просит удара. Я ему дал, а он ослаб.

— И правильно: в районе мне и не поверят, чтоб был один убиец, а двое — это уж вполне кулацкий класс и организация!

После похорон в стороне от колхоза зашло солнце, и стало сразу пустынно и чуждо на свете; из-за утреннего края района выходила густая подземная туча, к полнотчи она должна дойти до здешних угодий и пролить на них всю тяжесть холодной воды. Глядя туда, колхозники начинали зябнуть, а куры уже давно квохтали в своих закутах, предчувствуя долготу времени осенней ночи. Вскоре на земле наступила сплошная тьма, усиленная чернотой почвы, растоптанной бродящими массами; но верх был еще светел — среди сырости неслышного ветра и высоты там стояло желтое сияние достигавшего туда солнца и отражалось на последней листве склонившихся в тишине садов. Люди не желали быть внутри изб — там на них нападали думы и настроения — они ходили по всем открытым местам деревни и старались постоянно видеть друг друга;

кроме того, они чутко слушали — не раздастся ли издали по влажному воздуху какого-либо звука, чтобы услышать утешение в таком трудном пространстве. Активист еще давно пустил устную директиву о соблюдении санитарности в народной жизни, для чего люди должны все время находиться на улице, а не задыхаться в семейных избах. От этого заседавшему активу было легче наблюдать массы из окна и вести их все время дальше.

Активист тоже успел заметить эту вечернюю желтую зарю, похожую на свет погребения, и решил завтра же с утра назначить звездный поход колхозных пешеходов в окрестные, жмущиеся к единоличию деревни, а затем объявить народные игры.

Председатель сельсовета, середняцкий старичок, подошел было к активисту за каким-нибудь распоряжением, потому что боялся бездействовать, но активист отрешил его от себя рукой, сказав только, чтобы сельсовет укреплял задние завоевания актива и сторожил господствующих бедняков от кулацких хищников. Старичок председатель с благодарностью успокоился и пошел делать себе сторожевую колотушку.

Вощев боялся ночей, он в них лежал без сна и сомневался; его основное чувство жизни стремилось к чему-либо надлежащему на свете, и тайная надежда мысли обещала ему далекое спасение от безвестности всеобщего существования. Он шел на ночлег рядом с Чиклиным и беспокоился, что тот сейчас ляжет и заснет, а он будет один смотреть глазами во мрак над колхозом.

— Ты сегодня, Чиклин, не спи, а то я чего-то боюсь.

— Не бойся. Ты скажи, кто тебе страшен, — я его убью.

— Мне страшна сердечная озадаченность, товарищ Чиклин. Я и сам не знаю что. Мне все кажется, что вдалеке есть что-то особенное или роскошный несбыточный предмет, и я печально живу.

— А мы его добудем. Ты, Воцев, как говорится, не горюй.

— Когда, товарищ Чиклин?

— А ты считай, что уж добыли: видишь, нам все теперь стало ничто...

На краю колхоза стоял Организационный Двор, в котором активист и другие ведущие бедняки производили обучение масс; здесь же проживали недоказанные кулаки и разные проштрафившиеся члены коллектива, одни из них находились на дворе за то, что впали в мелкое настроение сомнения, другие — что плакали во время бодрости и целовали колья на своем дворе, отходящие в обобществление, третьи — за что-нибудь прочее, и, наконец, один был старичок, явившийся на Организационный Двор самотеком, — это был сторож с кафельного завода: он шел куда-то сквозь, а его здесь приостановили, потому что у него имелось выражение чуждости на лице.

Воцев и Чиклин сели на камень среди Двора, предполагая вскоре уснуть под здешним навесом. Старик с кафельного завода вспомнил Чиклина и дошел до него, до толе он сидел в ближайшей траве и сухим способом стирал грязь со своего тела под рубашкой.

— Ты зачем здесь? — спросил его Чиклин.

— Да я шел, а мне приказали остаться: может, говорят, ты зря живешь, дай посмотрим. Я было шел молча мимо, а меня назад окорачивают: стой, кричат, кулашник! С тех пор я здесь и проживаю на картошных харчах.

— Тебе же все равно где жить, — сказал Чиклин, — лишь бы не умереть.

— Это-то ты верно говоришь! Я к чему хочешь привыкну, только сначала томлюсь. Здесь уж меня и буквам научили и число заставляют знать: будешь, говорят, уместным классовым старичком. Да то что ж, я и буду!..

Старик бы всю ночь проговорил, но Елисей возвратился с котлована и принес Чиклину письмо от Прушевско-

го. Под фонарем, освещавшим вывеску Организационного Двора, Чиклин прочитал, что Настя жива и Жачев начал возить ее ежедневно в детский сад, где она полюбила советское государство и собирает для него утильсырье; сам же Прушевский сильно скучает о том, что Козлов и Сафронов погибли, а Жачев по ним плакал громадными слезами.

«Мне довольно трудно, — писал товарищ Прушевский, — и я боюсь, что полюблю какую-нибудь одну женщину и женюсь, так как не имею общественного значения. Котлован закончен, и весной будем его бутить. Настя умеет, оказывается, писать печатными буквами, посылаю тебе ее бумажку».

Настя писала Чиклину:

«Ликвидируй кулака как класс. Да здравствует Ленин, Козлов и Сафронов.

Привет бедному колхозу, а кулакам нет».

Чиклин долго шептал эти написанные слова и глубоко растрогался, не умея морщить свое лицо для печали и плача; потом он направился спать.

В большом доме Организационного Двора была одна громадная горница, и там все спали на полу благодаря холоду. Сорок или пятьдесят человек народа открыли рты и дышали вверх, а под низким потолком висела лампа в тумане вздохов, и она тихо качалась от какого-то сотрясения земли. Среди пола лежал и Елисей; его спящие глаза были почти полностью открыты и глядели не моргая на горящую лампу. Нашедши Вощева, Чиклин лег рядом с ним и успокоился до более светлого утра.

Утром колхозные босые пешеходы выстроились в ряд на Оргдворе. Каждый из них имел флаг с лозунгом в руках и сумку с пищей за спиной. Они ожидали активиста как первоначального человека в колхозе, чтобы узнать от него, зачем им идти в чужие места.

Активист пришел на Двор совместно с передовым персоналом и, расставив пешеходов в виде пятикратной звез-

ды, стал посреди всех и произнес свое слово, указывающее пешеходам идти в среду окружающего беднячества и показать ему свойство колхоза путем призвания к социалистическому порядку, ибо все равно дальнейшее будет плохо. Елисей держал в руке самый длинный флаг и, покорно выслушав активиста, тронулся привычным шагом вперед, не зная, где ему надо остановиться.

В то утро была сырость и дул холод с дальних пустопорожных мест. Такое обстоятельство тоже не было упущено активом.

— Дезорганизация! — с унылостью сказал активист про этот остужающий вечер природы.

Бедные и средние странники пошли в свой путь и скрылись вдалеке, в постороннем пространстве. Чиклин глядел вслед ушедшей босой коллективизации, не зная, что нужно дальше предполагать, а Воцев молчал без мысли. Из большого облака, остановившегося над глухими дальними пашнями, стеной пошел дождь и укрыл ушедших в среде влаги.

— И куда они пошли? — сказал один подкулачник, уединенный от населения на Оргдворе за свой вред. Активист запретил ему выходить далее плетня, и подкулачник выражался через него. — У нас одной обувки на десять годов хватит, а они куда лезут?

— Дай ему! — сказал Чиклин Воцеву.

Воцев подошел к подкулачнику и сделал удар в его лицо. Подкулачник больше не отзывался.

Воцев приблизился к Чиклину с обыкновенным недоумением об окружающей жизни.

— Смотри, Чиклин, как колхоз идет на свете — скучно и босой.

— Они потому и идут, что босые, — сказал Чиклин. — А радоваться им нечего: колхоз ведь житейское дело.

— Христос тоже, наверно, ходил скучно, и в природе был ничтожный дождь.

— В тебе ум бедняк, — ответил Чиклин. — Христос ходил один неизвестно из-за чего, а тут двигаются целые кучи ради существования.

Активист находился здесь же на Оргдворе; прошедшая ночь прошла для него задаром — директива не спустилась на колхоз, и он опустил течение мысли в собственной голове; но мысль несла ему страх упущений. Он боялся, что зажиточность скопится на единоличных дворах и он упустит ее из виду. Одновременно он опасался и переусердия — поэтому обобществил лишь конское поголовье, мучаясь за одиноких коров, овец и птицу, потому что в руках стихийного единоличника и козел есть рычаг капитализма.

Сдерживая силу своей инициативы, неподвижно стоял активист среди всеобщей тишины колхоза, и его подручные товарищи глядели на его смолкшие уста, не зная, куда им двинуться. Чиклин и Воцев вышли с Оргдвора и отправились искать мертвый инвентарь, чтобы увидеть его годность.

Пройдя некоторое расстояние, они остановились на пути, потому что с правой стороны улицы без труда человека открылись одни ворота, и через них стали выходить спокойные лошади. Ровным шагом, не опуская голов к растущей пище на земле, лошади сплоченной массой миновали улицу и спустились в овраг, в котором содержалась вода. Напившись в норму, лошади вошли в воду и постояли в ней некоторое время для своей чистоты, а затем выбрались на береговую сушь и тронулись обратно, не теряя строя и сплочения между собой. Но у первых же дворов лошади разбрелись — одна остановилась у соломенной крыши и начала дергать солому из нее, другая, нагнувшись, подбирала в пасть остаточные пучки тощего сена, более же угрюмые лошади вошли на усадьбы и там взяли на знакомых, родных местах по снопу и вынесли его на улицу.

Каждое животное взяло посильную долю пищи и бережно несло ее в направлении тех ворот, откуда вышли до того все лошади.

Прежде пришедшие лошади остановились у общих ворот и подождали всю остальную конскую массу, а уж когда все совместно собрались, то передняя лошадь толкнула головой ворота нараспашку, и весь конский строй ушел с кормом на двор. На дворе лошади открыли рты, пища упала из них в одну среднюю кучу, и тогда обобществленный скот стал вокруг и начал медленно есть, организованно смирившись без заботы человека.

Воцев в испуге глядел на животных через скважину ворот; его удивляло душевное спокойствие жующего скота, будто все лошади с точностью убедились в колхозном смысле жизни, а он один живет и мучается хуже лошади.

Далее лошадного двора находилась чья-то неимущая изба, которая стояла без усадьбы и огорожи на голом земном месте. Чиклин и Воцев вошли в избу и заметили в ней мужика, лежавшего на лавке вниз лицом. Его баба прибирала пол и, увидев гостей, утерла нос концом платка, отчего у ней сейчас же потекли привычные слезы.

— Ты чего? — спросил ее Чиклин.

— И-и, касатики! — произнесла женщина и еще гуще заплакала.

— Обсыхай скорей и говори! — образумил ее Чиклин.

— Мужик-то который день уткнулся и лежит... Баба, говорит, посуй мне пищу в нутро, а то я весь пустой лежу, душа ушла изо всей плоти, улететь боюсь, клади, кричит, какой-нибудь груз на рубашку. Как вечер, так я ему самовар к животу привязываю. Когда ж что-нибудь настанет-то?

Чиклин подошел к крестьянину и повернул его навзничь — он был действительно легок и худ, и бледные, окаменевшие глаза его не выражали даже робости. Чиклин близко склонился к нему.

— Ты что — дышишь?

— Как вспомню, так вздохну, — слабо ответил человек.

— А если забудешь дышать?

— Тогда помру.

— Может, ты смысла жизни не чувствуешь, так потерпи чуть-чуть, — сказал Воцев лежачему.

Жена хозяина исподволь, но с точностью разглядывала пришедших, и от едкости глаз у нее нечувствительно высохли слезы.

— Он все чуял, товарищи, все дочиста душевно видел! А как лошадь взяли в организацию, так он лег и перестал. Я-то хоть поплачу, а он нет.

— Пусть лучше плачет, ему милее будет, — посоветовал Воцев.

— Я и то ему говорила. Разве же можно молча лежать — власть будет пугаться. Я-то нарочно, вот правда истинная — вы люди, видать, хорошие, — я-то как выйду на улицу, так и зальюсь вся слезами. А товарищ активист видит меня — ведь он всюду глядит, он все щепки сосчитал, — как увидит меня, так и приказывает: плачь, баба, плачь сильней — это солнце новой жизни взошло, и свет режет ваши темные глаза. А голос-то у него ровный, и я вижу, что мне ничего не будет, и плачу со всем желанием..

— Стало быть, твой мужик только недавно существует без душевной прилежности? — обратился Воцев.

— Да как вот перестал меня женой звать, так и почитай, что с тех пор.

— У него душа — лошадь, — сказал Чиклин. — Пускай он теперь порожняком поживет, а его ветер продует.

Баба открыла рот, но осталась без звука, потому что Воцев и Чиклин ушли в дверь.

Другая изба стояла на большой усадьбе, огороженной плетнями, внутри же избы мужик лежал в пустом гробу и при любом шуме закрывал глаза, как скончавшийся. Над

головой полуусопшего уже несколько недель горела лампада, и сам лежащий в гробу подливал в нее масло из бутылки время от времени. Вощев прислонил свою руку ко лбу покойного и почувствовал, что человек теплый. Мужик слышал то и вовсе затих дыханьем, желая побольше остыть снаружи. Он сжал зубы и не пропускал воздуха в свою глубину.

— А теперь он похолодал, — сказал Вощев.

Мужик изо всех темных своих сил останавливал внутреннее биение жизни, а жизнь от долголетнего разгона не могла в нем прекратиться. «Ишь ты какая, чтущая меня сила, — между делом думал лежащий, — все равно я тебя затомлю, лучше сама кончись».

— Как будто опять потеплел, — обнаруживал Вощев по течению времени.

— Значит, не боится еще, подкулацкая сила, — произнес Чиклин.

Сердце мужика самостоятельно поднялось в душу, в горловую тесноту, и там сжалось, отпуская из себя жар опасной жизни в верхнюю кожу. Мужик тронулся ногами, чтобы помочь своему сердцу вздрогнуть, но сердце замучилось без воздуха и не могло трудиться. Мужик разинул рот и закричал от горя смерти, жалея свои целые кости от сожжения в прах, свою кровавую силу тела от гниения, глаза от скрывающегося белого света и двор от вечного сиротства.

— Мертвые не шумят, — сказал Вощев мужику.

— Не буду, — согласно ответил лежащий и замер, счастливый, что угодил власти.

— Остывает, — пощупал Вощев шею мужика.

— Туши лампаду, — сказал Чиклин. — Над ним огонь горит, а он глаза зажмурил — вот где нет никакой скупости на революцию.

Вышедши на свежий воздух, Чиклин и Вощев встретили активиста — он шел в избу-читальню по делам куль-

турной революции. После того он обязан был еще обойти всех средних единоличников, оставшихся без колхоза, чтобы убедить их в неразумности огороженного дворового капитализма.

В избе-читальне стояли заранее организованные колхозные женщины и девушки.

— Здравствуй, товарищ актив! — сказали они все сразу.

— Привет кадру! — ответил задумчиво активист и постоял в молчаливом созерцании. — А теперь мы повторим букву «а», слушайте мои сообщения и пишите...

Женщины прилегли к полу, потому что вся изба-читальня была порожняя, и стали писать кусками штукатурки на досках. Чиклин и Воцев тоже сели вниз, желая укрепить свое знание в азбуке.

— Какие слова начинаются на «а»? — спросил активист.

Одна счастливая девушка привстала на колени и ответила со всей быстротой и бодростью своего разума:

— Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист! Твердый знак везде нужен, а архилевому не надо!

— Правильно, Макаровна, — оценил активист. — Пишите систематично эти слова.

Женщины и девушки прилежно прилегли к полу и начали настойчиво рисовать буквы, пользуясь корябающей штукатуркой. Активист тем временем засмотрелся в окно, размышляя о каком-то дальнейшем пути или, может быть, томясь от своей одинокой сознательности.

— Зачем они твердый знак пишут? — сказал Воцев. Активист оглянулся.

— Потому что из слов обозначаются линии и лозунги и твердый знак нам полезней мягкого. Это мягкий нужно отменить, а твердый нам неизбежен: он делает жесткость и четкость формулировок. Всем понятно?